

РУССКАЯ САТИРА В ВЕК ЕКАТЕРИНЫ

Русские сатирические журналы 1769—1774 годов. Эпизод из истории русской литературы прошлого века. Соч. А. Афанасьева. Москва, 1859 г.

<в сокращении>

А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить,
Чтоб там речей не тратить
попустому.
Где нужно власть употребить.
Крылов.

Искусство говорить слова для слов всегда возбуждало великое восхищение в людях, которым нечего делать. Но такое восхищение не всегда может быть оправдано. Конечно, и звук, как все на свете, имеет право на «самостоятельное существование» и, доходя до высокой степени прелести и силы, может восхищать сам собою, независимо от того, что им выражается. Так, нас может пленять соловьиное пение, смысла которого мы не понимаем, итальянская опера, которую обыкновенно понимаем еще меньше, и т. п. Но в большинстве случаев звук занимает нас только как знак, как выражение идеи. Восхищаться в официальном отчете его слогом или в профессорской лекции — ее звучностью означает крайнюю односторонность и ограниченность, близкую к идиотству. Вот почему, как только литература перестает быть праздною забавою, вопросы о красотах слога, о трудных рифмах, о звукоподражательных фразах и т. п. становятся на второй план: общее внимание привлекается содержанием того, что пишется, а не внешнею формою. Таким образом, красивенькие описания, звучные дифирамбы и всякого рода общие места исчезают пред произведениями, в которых развивается общественное содержание. Является потребность в изображении нравов; а так как нравы, от начала человеческих обществ до наших времен, были всегда очень плохи, то изображение их всегда переходит в сатиру.

Таким образом, сатира, говоря слогом московских публицистов,¹ «служит доказательством зрелости общественной среды и залогом грядущего совершенствования государства». Немудрено поэтому, что и у нас сатира привлекает к себе особенную благосклонность образованной публики и приводит в восторг лучших наших историков литературы, т. е. тех, которые уже переступили степень развития, позволяющую иным восхищаться слогом официальных отчетов.

Относительно значения и достоинства сатиры вообще мы совершенно соглашаемся с почтенными историками литературы нашей. Но мы позволим себе указать на одну особенность нашей родной сатиры, до сих пор почти не удостоенную внимания ученых исследователей. Особенность эта состоит в том, что литература наша началась сатирою, продолжалась сатирою и до сих пор стоит на сатире — и между тем все-таки не сделалась еще существенным элементом народной жизни, не составляет серьезной необходимости для общества, а продолжает быть для публики чем-то посторонним, роскошью, забавою, а никак не делом. Это значит, по нашему мнению, то, что и сатира у нас вовсе не есть «следствие зрелости общественной среды», а объясняется совершенно другими причинами. Причины эти нетрудно понять: сатира явилась у нас, как привозный плод, а вовсе не как продукт, выработанный самой народной жизнью. Кантемир, обличая приверженцев старины и вздорных поклонников новизны, сказал не думу русского народа, а идеи иностранного князя, пораженного тем, что русские не так принимают европейское образование, как бы следовало по плану преобразователя России. Ставши под покровом официальных распоряжений, он смело карал то, что и так отодвигалось на задний план разнообразными реформами, уже приказанными и произведенными; но он не касался того, что было действительно дурно — не для успеха государственной реформы, а для удобств жизни самого народа. В то время, как вводилась рекрутская повинность, Кантемир изощрялся над неслужащими; когда учреждалась табель о рангах, он поражал боярскую спесь и местничество; когда народ от притеснений и непонятных ему новостей всякого рода бежал в раскол, он смеялся над мертворою обрядностью раскольников; когда народ пуждался в грамоте, а у нас учреждалась академия наук, он обличал тех, которые говорили, что можно жить, не зная ни латыни, ни Эвклида, ни алгебры... С Кантемира так это и пошло на целое столетие: никогда почти не добивались сатирики до главного, существенного зла, не раздражались грозным обличением против того, от чего происходят и развиваются общие народные недостатки и бедствия. Характер обличений был частный, мелкий, поверхностный. И вышло то, что сатира наша хотя,

по-видимому, и говорила о деле, но, в сущности, постоянно оставалась пустым звуком...

Любопытно проследить, как это случилось, и мы не отказываемся, по мере возможности, когда-нибудь серьезно заняться этим вопросом. Но теперь выскажем лишь несколько общих замечаний, нужных для настоящего предмета нашей статьи.

Когда человек говорит о деле, то прямая цель его слова, чтобы дело было сделано; когда сатирик восстает против недостатков, то у него непременно есть стремление исправить недостатки. Но чтобы подобная цель могла достигаться, нужно говорить дельно и договаривать до конца; иначе никакого толку не выйдет. Если меня, например, порицают за то, что я живу в дурной квартире и ем плохую пищу, между тем как у меня нет денег для лучшей квартиры и пищи, то очевидно, что все порицания не принесут мне ровно никакой пользы. Человек, истинно желающий, чтобы я исправился от дурной привычки скудно есть и жить в бедности, непременно обратит свои обличения не на квартиру и стол мой, а — или на то, зачем я сам ничего не делаю для своего обеспечения, или на то, зачем другие не вознаграждают моего труда, как следует. То же самое и в нравственной жизни общества. Большая часть общественных явлений не может быть изменена просто волею частных лиц: нужно изменить обстановку, дать другие начала для общей деятельности, и тогда уже обличать тех, которые не сумеют воспользоваться выгодами нового устройства. Наши сатирики отчасти не хотели понять этого, а отчасти и понимали, да не могли выразить. Они нападали на необразованность, взяточничество и ханжество, отсутствие законности, спесь и жестокость в обращении с низшими, подлость пред высшими и пр. Но весьма редко в подобных обличениях проглядывала мысль, что все эти частные явления суть не что иное, как неизбежные следствия ненормальности всего общественного устройства. Большею частию нападали на взяточника так, как будто бы все зло взяточничества зависело единственно от личной наклонности таких-то к обдиранию просителей. Никогда в сатирах наших вопрос о взятках не переходил в рассмотрение общего вреда бюрократии и тех обстоятельств, которыми сама бюрократия порождена и развита. То же было и во всех других вопросах. Значительная часть сатириков наших уподоблялась человеку, обличающему бедняка за то, что тот не живет в роскоши, и добросовестно убежденному, что от этих обличений жизнь бедняка пойдет лучше. Некоторые же изобличители задавались такою мыслию: «мы, дескать, будем обличать и осмеивать бедняка за его скудость; когда это дойдет до хозяина, от которого он получает жалованье, так хозяин-то усовестится, да и сделает ему прибавку». Рас-

суждение это, замечательное по своей наивности, очевидно руководило весьма многими из наших сатириков, от Сумарокова до наших дней, и вследствие того обличения бедняка в скудости обыкновенно заканчивались увещанием исправиться, оставаясь на службе у того же хозяина... В одной из наших прежних статей мы уже говорили о подобных сатириках, называя их Маниловыми, и здесь не можем не повторить, что именно этот маниловский характер и лишал постоянно нашу сатиру реального значения. Жевали, жевали, мяли, мяли у нас в литературе разные общественные вопросы и под конец дошли — до чего же? — до эстетического открытия, что и сатира может быть таким же словом для слова, как и звучное стихотворение Фета или Хомякова... Оказалось, что не одни розы и грезы, не одну географию славянских рек, но и общественные язвы можно воспевать только для процесса воспевания. Сатира явилась только другим видом или, если хотите, другою степенью старинных эклог, рондо и мадригалов... Здесь был, конечно, уже не звук для звука, но и не звук для дела; это было — обличение для обличения, спор для спора, остроумие для остроумия. До настоящего дела было отсюда чрезвычайно далеко не только в выражении, но часто и в мысли сатириков. Они твердили: не нужно прислуживаться к начальству, не нужно брать взяток, не нужно эксплуатировать других и пр. Но как же быть, когда без прислуживанья и без взяток большинство чиновников не может выбиться из ничтожества, не может содержать семьи, прилично одеться и т. д.? Как быть, ежели, при современных общественных отношениях, обыкновенный человек, не эксплуатирующий другого, должен почти умирать с голода? При этих вопросах не только обличаемые, но и сами обличители становились втупик и начинали бить воздух отвлеченностями о том, что во всяком случае надо, однако, быть честным. Но так как этот аргумент был уже слишком слаб даже пред судом их собственной совести, вроде докторского уверения больному, что следует беречь здоровье, то они обыкновенно пускались в очарования и надежды. «Конечно, — рассуждали они, — худосочие и ревматизм нельзя уничтожить медикаментами; надо переменить образ жизни и всю внешнюю обстановку. Но в настоящее время, когда все идет вперед, не нужно особенных усилий, для того чтобы сделать такую радикальную перемену: она совершается сама собою. По сложности ученых наблюдений за последние 50 лет, оказывается, что климат вообще смягчается в северных странах, море оседает, гастрономия делает новые успехи, многие изнурительные для здоровья работы исполняются новоизобретенными машинами и пр., и пр. ...Нет сомнения, что все это должно быть весьма утешительно для больного бедняка, ибо подает ему надежду, что мед-

ленный, но верный прогресс скоро коснется и его положения и уничтожит причины его болезни...» Такие и подобные рассуждения всегда составляли одну из необходимых частей нашей сатиры; причины их заключались в неумении или нерешимости указать действительные средства поправить дело; следствием же их была та двойственность, та непрерывная цепь разочарований и новых надежд, та умилительная смесь негодования и восторга, которые доставили нашим сатирикам так много обломовской миловидности и так мало действительной силы...

Винить ли их за то, что они не умели вылечить больного? Требовать ли от них, чтобы они приняли на себя громадный труд изменить всю обстановку, благоприятствующую болезни? Нет, это было бы несправедливо и нелепо. Но можно спросить их о другом: зачем они придают своим утешительным фразам значение, которого они не имеют? Зачем они, повторяя много лет одни и те же фразы, наконец до того сами увлекаются ими, что говорят их даже не в смысле простого утешения, а прописывают в виде действительного лекарства? Наконец, зачем они так мало имеют последовательности, так поверхностно смотрят на жизнь, что полагают, будто новейшими успехами гастрономии воспользуется желудок больного бедняка или что поднятие балтийского берега может на нынешнюю осень предохранить от наводнения жителей Галерной гавани?..

Несколько месяцев тому назад мы говорили о современной нашей сатире и выражали прискорбие о ее мелочности и поверхностности. Мы высказали убеждение, что от такой сатиры не выйдет истинной пользы для общества. Некоторые приняли наши слова за убеждение, что обличать вовсе не нужно и что сатира только портит эстетический вкус публики.² Но мы вовсе не то имели в виду: мы хотели сказать, что наша сатира *не то и не так* обличает... Плодить далее рассуждения об этой материи мы считаем крайне неудобным, потому что — известное дело — о настоящем времени всегда трудно произносить откровенное и решительное суждение, а у нас в настоящее время, когда поднято столько вопросов и сделано столько начинаний,³ подобное суждение положительно невозможно. Но если аналогия может к чему-нибудь повести, то нам представляется в книге г. Афанасьева превосходный случай проследить один «эпизод из истории русской литературы», во многих отношениях аналогический настоящему времени. Этот эпизод представляет нам сатира екатерининского периода. Книга г. Афанасьева, рассматривающая сатирические журналы того времени, дает нам очень много данных относительно того, что тогда делала сатира. К сожалению, наш автор не обратил внимания на то, какие результаты произошли в самой жизни от столь ярких обличе-

ний. Но мы стараемся сделать за него несколько указаний из источников, всем постоянно доступных: из учебника русской истории г. Устрялова, из «Полного собрания законов» и из нескольких журнальных статей, напечатанных в последнее время.

Век Екатерины долгое время являлся нам в каком-то волшебном сиянии, златым веком процветания России по всем частям. До недавнего времени наше внимание привлекалось только светлою стороною последней половины прошлого века. Созвание депутатов со всей России, Наказ, учреждение о губерниях, громы суворовских и румянцевских побед, приобретение Крыма и Польши, развитие народного просвещения, процветание наук и художеств, оды Державина, поэмы Хераскова, комедии Фонвизина и самой Екатерины — все это преисполняло благоговением даже самую нечувствительную душу! Но, в настоящее время, когда Россия вступает в новый период существования, и для екатерининской эпохи наступила уже история. Теперь уже нужны не дифирамбы, не безотчетные хвалы, а беспристрастное и спокойное рассмотрение фактов того времени во всей их полноте. Скрывать или искажать исторические факты, бывшие за сто или 80 лет назад, было бы крайне невежественным и вредным, почти иезуитским поступком. Вот почему теперь беспрепятственно появляется в печати множество материалов для екатерининской истории, которые до сих пор не могли появиться в свет. В «Русской беседе» напечатаны записки Державина, в «Отечественных записках», в «Библиографических записках» и в «Московских ведомостях» недавно помещены были извлечения из сочинений князя Щербатова, в «Чтениях Московского общества истории» и в «Пермском сборнике» — допросы Пугачеву и многие документы, относящиеся к истории пугачевского бунта; в «Чтениях» есть, кроме того, много записок и актов, весьма резко характеризующих тогдашнее состояние народа и государства, месяц тому назад г. Иловайский, в статье своей о княгине Дашковой, весьма обстоятельно изложил даже все подробности переворота, возведшего Екатерину на престол; наконец, сама книга г. Афанасьева содержит в себе множество любопытных выписок из сатирических журналов — о ханжестве, дворянской спеси, жестокостях и невежестве помещиков и т. п. [Выписки эти в прежнее время были невозможны; но теперь они являются в весьма значительном количестве, потому что «в настоящее время, когда» крестьянский вопрос принял уже такие обширные размеры и предан правительством такой широкой гласности, подобные исторические указания могут делаться совершенно безопасно]. Опираясь на эти примеры, и мы решаемся раскрыть, насколько возможно по скудости источников и другим обстоятель-

ствам, истинное отношение сатиры екатерининского периода к самой действительности того времени и показать, каковы были результаты тогдашних литературных толков для последующей жизни народа и государства.

Ежели рассматривать сатиру екатерининского времени как нечто самобытное и серьезное и не обращать внимания на факты, противоречащие такому взгляду, то нельзя не удивляться ее силе и смелости, нельзя не прийти в восхищение и не подумать, что такая сатира должна была произвести благотворнейшие результаты для всей России. До таких именно убеждений и дошел г. Афанасьев, как видно из первых слов его книги.

Блистательное царствование императрицы Екатерины II, столько замечательное во всех отношениях, известно и своим благотворным влиянием на развитие отечественной литературы и журналистики. *Успехи общественной жизни отразились и на серьезном содержании многих литературных произведений и на благородном их направлении.* Защита просвещения, борьба с невежеством и предрассудками, открытая и меткая насмешка над нравственными общественными недугами и глубокое чувство истинного патриотизма — вот те существенные стремления, которым служило перо лучших сочинителей того времени.

Далее г. Афанасьев говорит, что «сатира, состоя в тесной связи с теми преобразованиями, какие задумывала и совершала великая Екатерина, *бросала на восприимчивую почву русской народности живительное семя*» (стр. 2). Какова была жатва, об этом г. Афанасьев не считает нужным распространяться; но, по его словам, надо полагать, что, при таких благоприятных условиях, и жатва должна быть очень хороша. Семя живительное и почва восприимчивая: чего же вам больше? Разве посторонние влияния могли мешать: градом побивало растительность, саранча налетала? Да и того не могло быть: ведь сатира «состояла в тесной связи с преобразованиями великой Екатерины!» Очевидно, по всем признакам: екатерининская сатира должна была принести прекраснейшие плоды.

И действительно, сами сатирики того времени были убеждены в громадности своего влияния на исправление общественных недостатков. Сознывая свою связь с правительственными преобразованиями, они не отделяли своего дела от дела Екатерины и твердо уповали на скорое водворение в России златого века вследствие совокупных усилий правительства и литературы. Без этой приправы не обходилось у них ни одно обличение! Особенно восхищало их то, что при Екатерине уже не водили к пытке и не ссылали в Сибирь за каждое нескромное слово. «Читая твой листок, — писал кто-то к «Живописцу», — я плакал от радости, что нашелся

человек, который против господствующего ложного мнения осмелился говорить в печатных листах. Великий боже! услыши моление восьмидесятилетнего старика... к счастью нашему продли дни премудрые государыни!.. Куда бы ты попал, бедняжка, если б эту песню запел в то время, когда я был помоложе» («Живописец», ч. I, стр. 52). Это было напечатано в «Живописце» в 1772 г., т. е. через десять лет по вступлении Екатерины на престол. Известно, что «Живописец» посвящен сочинителю комедии «О, время!», т. е. самой Екатерине, и в посвящении этом прямо и положительно объясняется, что сатира принимает смелость обличать пороки именно вследствие поощрения государыни, как правительственного, так и литературного. Новиков, прикидываясь, что не знает, кто сочинил «О, время!», говорит здесь о Екатерине и как об авторе, и как о правительнице и одну восхваляет пред другим. Между прочим, он говорит автору комедии:

Вы первый с таким искусством и острою заставили слушать едкость сатиры с приятностью и удовольствием; вы первый с такою благородною смелостью напали на пороки, в России господствовавшие... Продолжайте, государь мой, прославлять себя вашими сочинениями... Взгляните беспристрастным оком на пороки наши, закоренелые худые обычаи, злоупотребления и на все развратные наши поступки; вы найдете толпы людей, достойных вашего осмеяния; и вы увидите, какое еще пространное поле ко прославлению вашему осталось.

Слова эти можно заметить как свидетельство писателя, что в 1772 г., несмотря на возгласы одописцев об Астрее и золотом веке, господствовало еще в России полное развращение, и сатира, упражнявшаяся над ним уже три года (считая с 1769, когда начались сатирические журналы), по-прежнему имела для себя еще «пространное поле». Впрочем, весь «Живописец» свидетельствует об этом еще лучше, и потому-то особенно любопытна та легкость, с которою и он, вместе с другими, поет хвалы «златому веку», наставшему тогда в России. Видно, что для «златого века» сатирики считали нужным только дозволение говорить о пороках... На это преимущественно и сводит Новиков свое увещание автору комедии «О, время!» насчет продолжения его писаний. Сказав об обилии наших пороков и злоупотреблений, он продолжает:

Вы первый достойны показать, что дарованная вольность умам российским употребляется в пользу отечества. Но, государь мой, почто укрываете вы свое имя; имя, всеобщее достойное похвалы? Я никакие не нахожу к тому причины. Неужели, оскорбя столь жестоко пороки и вооружа против себя порочных, опасаетесь злословия? Нет, такая слабость никогда не может иметь места в благородном сердце. И может ли такая ваша смелость опасаться угнетения в то время, когда, к счастью России и ко благоденствию человеческого рода, владычествует наша премудрая Екатерина? - Ее удовольствие, оказанное о представлении вашей комедии, удостоверяет о покровительстве ее таким, как вы, писателям. Чего ж осталось вам страшиться?» («Жив.», ч. I, стр. IV).

Из этого, не совсем ловкого по нынешним понятиям, указания на удовольствие Екатерины, выраженное ею при представлении ее же пьесы, видно, как мало тогдашняя сатира имела собственной инициативы и как она нуждалась в меценатстве и поощрении сверху. Поощрение это действительно даваемо было Екатериною, разумеется в тех пределах, в каких она считала нужным и сообразным с своими видами, — и благодарные сатирики не могли без умиления отзываться о милостях премудрой монархини. Они беспрерывно хвалились ее покровительством и чрез то зажимали рот обскурантам, которым не нравилась свобода слова. «Живописец» изображает глупого и жестокого помещика, который пишет к сыну своему Фалалею: «Что за Живописец такой у вас проявился? какой-нибудь немец, а православный этого не написал бы... О! коли бы он здесь был! То-то бы потешил свой живот: все бы кости у него сделал, как в мешке. Что и говорить: дали волю!.. Тут небось не видят, и знатные господа молчат» («Живоп.», I, стр. 109). В «Трутне» упоминается *суевер*, называющий златой век, в коем *позволено всем мыслить*, железным веком» («Трут», стр. 280). Сама Екатерина придавала очень большую цену тому, что свобода слова не стесняется ею. В «Былях и небылицах», напечатанных в 1783 г. (через десять лет после «Живописца»), она упоминает выходку *дедушки* против «разговоров, касающихся поправления того-сего». «В прежнее время, по словам дедушки, разговоры сии вели вполголоса или на ушко, дабы лишней какой беды оные кому из нас не нанесли; следовательно, громогласие между нами редко слышно было; беседы же получали от того некоторый блеск и вид вежливости, которой следы не столь приметны ныне: ибо разговоры, смех, горе и все, что вздумать можешь, открыто и громогласно отправляется», — «Для изъяснения сего дедушка говорит, что *будто мысли и умы, долго быв угнетены под тягостью тайны, вдруг, яко плотина, от сильной водополи прорвались*». (Соч. Екатер., ч. III, стр. 30). В «Собеседнике», издававшемся кн. Дашковою, под руководством самой Екатерины, также находится одно письмо, в котором говорится: «держитесь принятого вами единожды навсегда правила: не воспрещать честным людям свободно изъясняться. Вам нет причины страшиться гонений за истину под державою монархини.

Qui pense en grand homme et qui permet, qu'on pense!*

В то же время Державин прославлял свободу слова, данную Екатериною, в обращении к Фелице (Соч. Держ., стр. 368):

* Кто мыслит, как великий человек, и позволяет мыслить (фр.).

Неслыханное также дело,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смело
О всем, и въявь, и под рукой,
И знать и мыслить позволяешь.
И о себе не запрещаешь
И быть, и небыль говорить.

К этому же великодушному «позволению знать и мыслить» возвращается Державин и позже в «Изображении Фелицы» (1789 г.), влагая ей в уста следующие слова к народу (Держ., стр. 415):

*Я вам даю свободу мыслить
Не в рабстве, а в подданстве числить,
И в ноги мне челом не бить;
Даю вам право без препоны
Мне ваши нужды представлять.
Читать и знать мои законы
И в них ошибки замечать.*

Ту же самую мысль, и около того же времени, еще сильнее выражал Фонвизин. В 1788 г. он задумал было издавать сатирический журнал: «Друг честных людей, или Стародум». Для этого издания написал он несколько мелких статей и, между прочим, письмо к Стародуму с просьбою у него статей в журнал. «Не страшусь я строгости цензуры,— пишет он, — ибо вы, конечно, не напишете ничего такого, что бы напечатать было невозможно... Век Екатерины второй ознаменован дарованием россиянам свободы мыслить и изъясняться. «Недоросль» мой, между прочим, служит тому доказательством, ибо назад тому лет за тридцать ваша собственная роль могла ли бы быть представлена и напечатана. Правда, что есть и ныне особо стремящиеся угнетать дарования и препятствующие выходить всему тому, что невежество и порок их обличает; *но таковое* немощной злобы усилие, кроме смеха, ничего другого ныне произвести не может». В ответ на это Стародум, с своей стороны, тоже восхваляет «век, в котором честный человек может мысль свою сказать безбоязненно». Между прочим, он пишет (Соч. Фонвизина, стр. 545—546):

Я сам жил большею частью тогда, когда каждый, слушав двоих так беседующих, как я говорил с Правдиным, бежал прочь от них стремглав, трепеща, чтоб не сделали его свидетелем вольных рассуждений о дворе и о дурных вельможах; но чтоб мой сей разговор приведен был в театральное сочинение, о том и помышлять было невозможно, ибо погибель сочинителя была бы наградою за сочинение. Екатерина расторгла сии узы. Она отверзая пути к просвещению, сняла с рук писателя оковы и позволила везде охотникам заводить вольные типографии, дабы умы имели повсюду способы выдавать в свет свои творения. Итак, российские писатели! какое обширное поле предстоит вашим дарованиям! Если какая робкая душа, обитающая в теле знатного вельможи, устремится на вас от страха, чтоб не терпеть унижения от ваших обличений; если ка-

кой-нибудь бессовестный лихоимец дерзнет, подкапываясь под законы, простирать хищную руку на грабеж отечества и своих сограждан: то перо ваше может ясно обличать их пред троном, пред отечеством, пред светом. Я думаю, что таковая свобода писать, каковою пользуются ныне россияне, поставляет человека с дарованием, так сказать, стражем общего блага. В том государстве, где писатели наслаждаются дарованною им свободою, имеют они долг возвысить громкий глас свой против злоупотреблений и предрассудков, вредящих отечеству, так что человек с дарованием может в своей комнате, с пером в руках, быть иногда полезным советователем государю, а иногда и спасителем сограждан своих и отечества.

Нельзя не заметить, что Стародум несколько далеко хватил в своем самодовольстве; но это дает нам меру той благородной доверчивости и наивности, с которою тогдашние сатирики смотрели на свое дело. Таким образом, во все время царствования Екатерины русская литература постоянно повторяла ту мысль, что писателям дана полная свобода откровенно высказывать все, что угодно. И не только при жизни, но даже и по смерти Екатерины, в оде на кончину ее (память 6 ноября 1796 г.), сочиненной Капнистом (Соч. Капн., стр. 309), мы находим упоминание о том, что при ней

Мы крылья мыслей расширяли,
Дерзая правду ей вешать.

Мысль эта сделалась постоянным и непреложным мнением и много раз высказывалась и впоследствии, долго спустя после смерти Екатерины, и перешла в историю. Так, например, Карамзин в своей записке «О старой и новой России», указавши на свободу печати при Екатерине, приводит даже и объяснение этого явления в таком виде: «Уверенная в своем величии, твердая, непреклонная в намерениях, объявленных ею, будучи единственною душою всех государственных движений в России, не выпуская власти из собственных рук, без казни, без пыток, влияв в сердца министров, полководцев, всех государственных чиновников живейший страх сделаться ей негодным и пламенное усердие заслуживать ее милость, Екатерина могла презирать легкомысленное злословие и позволяла искренности говорить правду. Сей образ мыслей, доказанный делами 34-летнего владычества, отличает ее царствование от всех прежних в новой российской истории. Следствием были: спокойствие сердец, успехи приятностей светских, знаний, разума». (Карамз., изд. Эйнерл., III, XLVII).

Впрочем было бы величайшим заблуждением думать, на основании возгласов тогдашних литераторов, будто при Екатерине можно было безнаказанно говорить и писать все, что бы ни пришло на ум. Напротив, императрица очень зорко следила за тем, чтобы в обществе и в народе не рассеивались понятия и слухи, несообразные с ее намерениями относитель-

но устройства и управления государством. При самом восшествии ее на престол начали ходить в народе различные слухи, которые были ей неприятны. Вследствие того, в 1763 г., июля 4, издан был указ «о воздержании каждому себя от непристойных званию его толкований и рассуждений» (Полн. собр. зак., № 12003). В этом указе говорится между прочим: «Со дня самого вступления нашего на все-российский престол, мы, богу содействующему, в сердце нашем никогда о пользе и добре наших подданных пешись, яко мать о детях своих, не оставим, в чем да управит и укрепит нас его ж рука святая. Вследствие чего равное ж желание и воля наша есть, чтоб все и каждый из наших верно-подданных единственно прилежал своему званию и должности, удаляясь от всяких продерзких и непристойных разглашений. Но противу всякого чаяния, к крайнему нашему прискорбию и неудовольствию, слышим, что являются *такие развращенных нравов и мыслей люди, кои не о добре общем и спокойствии помышляют, но как сами заражены странными рассуждениями о делах, совсем до них не принадлежащих, не имея о том прямого сведения, так стараются заражать и других слабоумных*, и даже до того попускают свои слабости в безрассудном стремлении, что *касаются дерзостно своими истолкованиями не только гражданским правам и правительству и нашим издаваемым уставам, но и самим божественным узаконениям*, не воображая знатно себе ни мало, каким таковые непристойные умствования подвержены предосуждениям и опасностям». Затем говорится, что «хотя таковые умствователи праведно заслуживают достойную себе казнь, *яко спокойствию нашему и всеобщему вредные*», но на первый раз монархиня обращается к ним лишь с «материнским увещанием», надеясь, что они сами постараются заслужить «благословение божие и монаршую милость, доверенность и благоволение»; в противном же случае обещает поступить с ними «по всей строгости законов». Подобные объявления с угрозами издавались не раз и в последующие годы. Источники чрезвычайно скудны насчет того, в какой мере исполнялись эти угрозы и много ли было людей, действительно захваченных в «вольных речах». Но некоторые сведения из истории нашей литературы и законодательства показывают, что указы Екатерины не оставались пустыми словами и этим очень резко отличались от сатирических возгласов тогдашних восторженных обличителей. В марте 1764 г. сожжен на площади с барабанным боем «пасквиль, выданный под именем высочайшего указа» и начинающийся словами: «время уже настало, что лихоимство искоренить, что весьма желаю в покое пребывать, однако весьма наше дворянство пренебрегает», и пр. ... (П. С. З., № 12089). В январе 1765 г. (П. С. З., № 12313) повелено

было сжечь на площади, чрез палача, непристойные сочинения, названные в указе «пасквилями», но не обозначенные никакими подробностями относительно их содержания. В мае 1767 г. наказан плетью в Ярославле и сослан в Нерчинск дворовый человек Андрей Крылов за то, что держал у себя тот самый пасквиль, о котором был указ в марте 1764 г. (П. С. З., № 12890). Неизвестно, на каких именно условиях дозволен был вообще выход книг в России до 1770 г. Но в этом году дано разрешение иностранцу Гарtungу на учреждение первой в России вольной типографии для печатания книг на иностранных языках, и в указе, данном по этому случаю, есть пункт, запрещающий ему выпускать из типографии какие бы ни было книги «без объявления для свидетельства в Академию наук и без ведома полиции». Русские же книги ему не дозволено печатать, «дабы прочим казенным типографиям в доходах их подрыву не было». (П. С. З., № 13572). Из этого видно, что размеры тогдашней книжной деятельности были весьма ничтожны, но что и те не были оставлены без строгого правительственного контроля. В 1776 г. дано дозволение завести типографию и для русских книг иностранцам Вейбрехту и Шнору; а в 1780 г. тот же Шнор получил разрешение завести типографию в Твери. В январе 1783 г. дозволено, наконец, заводить вольные типографии кому угодно, *не спрашивая ни у кого дозволения*, только с тем, чтобы все печатаемые книги были свидетельствуемы Управою благочиния (П. С. З., № 15633). Это дозволение также было прославлено в свое время русскою литературою, и сама императрица придавала ему большое значение. В «Собеседнике», издававшемся ею в 1783—84 г., напечатаны были «Вопросы» Фонвизина, между которыми был следующий: «отчего у нас тяжущиеся не печатают тяжб своих и решений правительства?» Екатерина отвечала с величественным лаконизмом: *«оттого, что вольных типографий до 1782 г. не было»*. Этот ответ привел в восторг и умиление Фонвизина: сатирик увидел здесь косвенное дозволение частным лицам печатать судебные дела и решения. В особом письме, напечатанном в том же «Собеседнике» (ч. V, стр. 145), он красноречиво излагает пользу судебной гласности. «Ответ ваш, — пишет он, — по-дает надежду, что размножение типографий послужит не только к распространению знаний человеческих, но и к подкреплению правосудия. Да облобызаем мысленно с душевною благодарностью десницу правосуднейшие и премудрые монархии. Она, отверзая новые врата просвещению, в то же время и тем самым полагает новую преграду ябедѣ и коварству. Она и в сем случае следует своему всегдашнему обычаю; ибо рассечь одним разом камень преткновения и вдруг источить из него два целебные потока есть образ чу-

додействия, Екатерине II весьма обычный. Способом печатания тяжёб и решений глас обиженного достигнет во все концы отечества. Многие постыдятся делать то, чего делать не страшатся. Всякое дело, содержащее в себе судьбу имени, чести и жизни гражданина, купно с решением судебным, может быть известно всей беспристрастной публике; воздастся достойная похвала праведным судьям; возгнушаются честные сердца неправдою судей бессовестных и алчных» и пр.

Однако же судебные процессы не печатались у нас при Екатерине, — неизвестно по каким причинам. Была одна попытка в 1791 г. Некто Василий Новиков стал тогда издавать «Театр судоведения, или чтение для судей», в котором печатал замечательные судебные дела, иностранные и несколько русских, обыкновенно таких, в которых, по его выражению, «нельзя было *не восплескать* мудрости судей». Но, очевидно, что это было совсем не то, о чем говорил Фонвизин, и оттого неудивительно, что издание В. Новикова не пошло и прекратилось по выпуске шести книжек. Для нас в этом издании замечательно то, что и в 1791 г. говорились о гласности те же самые фразы, какие, как мы видели, были в ходу в 1769 г. Вот, например, тирада из IV части: «Под покровом владычествующия на севере Минервы все части человеческих познаний достигают своего совершенства. Ободренные музы, будучи доступны к ее престолу, вещают ей о всем устнами самые истины. Отверзаются врата фемидина храма, вступают в него минервины дружи; корыстолюбивый и незнающий судья трепещет, а достойный готовится к новому торжеству своих подвигов» («Театр судов», ч. IV, стр. 4).

Во всех подобных возгласах было очень много риторического самодовольства. Писатели того времени, не обращая внимания на публику, для которой они писали, не думая о тех условиях, от которых зависит действительный успех добрых идей, придавали себе и своим словам гораздо более значения, нежели следовало. Когда им позволяли сказать что-нибудь резкое, они были убеждены, что это означает желание осуществить на деле эти резкие слова. Но, разумеется, гораздо основательнее было бы судить об этом иначе, и мы не можем не привести здесь суждения типографика Селивановского, которое находится в его «Записках», помещенных в «Библиографических записках» прошлого года (№ 17, стр. 518). «Цензуры в то время (около 1790 г.) не было, — пишет он, — книги рассматривались при управе или обер-полицейместером, то есть предъявлялись, но не читались. *В ту пору книга была нечто пустое, неважное, и еще не думали, что она может быть вредна*». Глубокую справедливость этого замечания подтверждают факты, последо-

вавшие за 1783 годом. Немедленно после дозволения, данного в этом году на открытие вольных типографий, их развелось очень много, и книжная деятельность чрезвычайно усилилась. Новиков, еще в 1779 году взявший на откуп московскую университетскую типографию и очень усердно печатавший в ней книги, теперь еще более расширил свою деятельность заведением собственной типографии — «компании типографической». Тут уже стали обращать серьезное внимание на литературу и несколько опасаться *свободоязычия*, которого Екатерина, как видно по всему, очень не любила. На вопрос Фонвизина: «имея монархиню честного человека, что бы мешало взять всеобщим правилом — удостоиваться ее милостей одними честными делами, а не отваживаться проискивать их обманом и коварством? отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а *нынче имеют и весьма большие?*» — Екатерина отвечала: «сей вопрос родился от *свободоязычия*, которого предки наши не имели; буде же бы имели, то начли бы на нынешнего одного десять прежде бывших» (Соч. Ек., III, 31). Подобное этому свободоязычие увидела она и в изданиях Новикова и как скоро заметила, что оно может повести к каким-нибудь последствиям, «для спокойствия ее и всеобщего вредным», то и решилась прекратить его. Уже в 1784 году за напечатание неблагоприятной для иезуитов истории их ордена в «Московских ведомостях» (№№ 68—71) она выразила свой гнев на Новикова и велела отобрать эти листы «Ведомостей», объяснив причину своего гнева следующим образом: «ибо дав покровительство наше сему ордену, *не можем дозволить, чтобы от кого-либо малейшее предупреждение оному учинено было*» (см. «Москв.», 1843 г., № 1, стр. 241). В 1785 г. наряжено было следствие над Новиковым, в 1786 г. повелено было запретить в продаже некоторые книги, у него напечатанные и «наполненные странными мудрствованиями» (П. С. З., № 16362). Еще более гнев императрицы на литературу возбужден был известным «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева. Сентября 4-го 1790 г. дан был указ о ссылке его на десять лет в Сибирь, «за издание книги, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтоб произвести в народе негодование противу начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми выражениями противу сана и власти царской» (П. С. З., № 16901). В 1791 г., вследствие разных неблагоприятных расположений, должна была закрыться типографическая компания. В 1792 г. Новиков посажен в Шлиссельбург, а некоторые из его друзей сосланы на житье в деревни. Наконец, в 1796 г., сентября 16, последовал именной указ Се-

нату «об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг; об учреждении на сей конец цензур и об упразднении частных типографий» (П. С. З., № 17508). В указе этом говорится, что «в прекращение разных неудобств, которые встречаются от свободного и неограниченного печатания книг, признано за нужное: 1) учредить цензуру в столицах и пограничных приморских городах, из одной духовной и двух светских особ составляемую; 2) частными людьми заведенные типографии, в рассуждении злоупотреблений, от того происходящих, упразднить, тем более что для печатания *полезных и нужных* книг имеется достаточное количество таковых типографий, при разных училищах устроенных». Эта мера уже слишком решительна; но Екатерина не опасалась на ней настаивать, и за несколько дней до своей смерти, октября 22, подтвердила повеление об уничтожении вольных типографий (П. С. З., № 17523). Постановления о цензуре были развиты и организованы в царствование Павла.

В сущности, конечно, и эти меры Екатерины, при всей их крайности, не достигли цели, как сознавалось потом само наше законодательство. Запрещение печатать книги в вольных типографиях было вызвано подозрениями, не имевшими прочного основания, как доказали последствия. Подозрения эти получили свою силу преимущественно вследствие опасений Екатерины, чтобы в России не отозвалось то волнение умов, которое в восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия совершалось во Франции.⁴ Но состояние тогдашнего русского общества вовсе не было таково, чтобы в нем могло развиваться что-нибудь серьезно опасное для существующего порядка. Книга Радищева составляла едва ли не единственное исключение в ряду литературных явлений того времени; и именно потому, что она стояла совершенно одиноко, против нее и можно было употребить столь сильные меры. Впрочем, если бы этих мер и не было, все-таки «Путешествие из Петербурга в Москву» осталось бы явлением исключительным и за автором его последовали бы, до конечных его результатов, разве весьма немногие. Стало быть, с этой точки зрения, излишние строгости против тогдашнего книгопечатания были совершенно ненужны: Екатерина ни в каком случае не могла страшиться неблагоприятных отзывов и «противных ее и всеобщему спокойствию» выходок со стороны литературы, которая всегда так усердно и громко прославляла ее и всегда была готова беспрекословно следовать по указанному от нее направлению. Если же предположить другую цель строгостей Екатерины, т. е. ту, чтобы вообще менее писали и рассуждали, то и в этом отношении ее меры вовсе не достигли цели. Русское общество даже и в то время так уже привыкло «читать книгу», что невозможно было

вовсе лишить его «книги», выгнать «книгу» из государства... Что бы там ни печаталось, что бы ни говорилось, до этого обществу дела еще не было; но «книга» была ему нужна. Вследствие того в самом указе об упразднении всех вольных типографий упомянуто об оставлении «достаточного количества типографий при училищах, для напечатания нужных и полезных книг», и, кроме того, дано дозволение «быть типографиям в губерниях при наместнических правлениях, для облегчения тамошних канцелярий». По свидетельству Сопикова (Оп. Рус. библ. I, стр. 40), все упраздненные типографии немедленно и разошлись по губерниям. Кроме того, найден был, разумеется, и другой способ распространения в публике сочинений, которые почему нибудь имели для нее интерес... Вследствие всего этого император Александр, вскоре по вступлении своем на престол, указом 9 февраля 1802 г., снова дал дозволение привозить из-за границы все иностранные книги и заводить повсеместно вольные типографии. В указе этом находится прямое и откровенное указание на причины, вызвавшие распоряжение императора. Упомянув сначала о запрещении 1796 г., указ продолжает: «но как с одной стороны внешние обстоятельства, к мере сей правительство побудившие, прошли и ныне уже не существуют, а с другой — *пятнадцатилетний опыт доказал, что средство сие было и весьма недостаточно к достижению предполагаемой им цели*, то по уважениям сим и признали мы справедливым, освободив сию часть от препон, по времени соделавшихся излишними и бесполезными, возвратить ее в прежнее положение» ...Далее, после разрешения вновь заводить вольные типографии и печатать в них всякие книги, с освидетельствованием Управы благочиния, в указе повелевается — «цензуры всякого рода, в городах и при портах учрежденные, *яко уже не нужные*, упразднить» (П. С. З., № 20139). Вскоре после того, в 1804 г., издан первый цензурный устав, усовершенствованный потом в 1828 г.

Таким образом, обращаясь снова к литературе, и преимущественно сатире екатерининского времени, мы должны сказать, что сатирики были не совсем правы, воображая, будто им так уж и позволят печатать все, что бы ни пришлось в голову. Но за это, разумеется, нельзя строго судить их: во-первых, после Бирона, после ужасного «слова и дела», та льгота, какая была дана при Екатерине, должна была показаться верхом всякой свободы; во-вторых, литература наша в то время была еще так нова, так несовершеннолетняя, что не могла не увлекаться и не обольщаться, когда ей давали позволение поиграть и порезвиться, и очень легко могла верить в мировое значение своих забав. Притом же большая часть тогдашних литераторов даже и не

видела грани, которая отделяла дозволенное им, игрушечное, от непозволенного, серьезного. И почти ни у кого не являлось охоты переступить эту грань, потому что вся литература тогда была делом не общественным, а занятием кружка, очень незначительного...

При таком положении дел может быть странно только одно: каким же образом сатирики в течение десятков лет могли оставаться в столь забавной иллюзии, воображая, что от их слов может произойти «поправление нравов» в целой России? Но и это объясняется довольно удовлетворительно двумя обстоятельствами: во-первых, тем, что сатира не отделяла своего дела и своих стремлений от идей и распоряжений правительства, подававших, особенно сначала, весьма большие надежды; во-вторых, тем, что, раз ставши под покровительство «Премудрых Минервы», сатирики того времени могли уже позволять себе в самом деле значительную свободу в своих обличениях частных недостатков и злоупотреблений. Оба эти обстоятельства требуют несколько подробнейшего рассмотрения.

Восшествие на престол императрицы Екатерины, как можно видеть даже из учебника Устрялова (ч. II, стр. 163—167), совершилось столь счастливо потому всего более, что предшественник ее навлек на себя своими распоряжениями всеобщее негодование...

...взяв в свои руки власть от человека, которым были недовольны, Екатерина, очень естественно, старается показать всем, что в ее руках эта власть не будет уже источником недовольства. Вследствие этого она «наиторжественнейше обещает» сделать такие постановления, которые «сохранят добрый во всем порядок и предохраниат целосту империи и самодержавной власти». Последнее указание очень важно: оно доказывает, что обещания императрицы не были фразой, довольно обыкновенною в подобных случаях, а вызваны были действительною необходимостью. Она чувствовала, что ей нужно добрым управлением сохранить и упрочить свою власть, и поспешила всенародно высказать свое убеждение. Таких данных уже совершенно достаточно было образованным людям того времени — и особенно писателям, людям скромным и негосударственным, — для того, чтобы предаться отрадным ожиданиям и даже представить себе уже осуществленную мечту далекого будущего о златом веке. И нельзя сказать, чтоб их мечты не имели основания: в первые годы царствования Екатерины каждый сколько-нибудь важный указ ее начинался заявлением материнской ее заботливости о благе народном, и во многих указах действительно делались льготы и улучшения, какие были нужны по тогдашнему времени. Одно уничтожение тайной канцелярии было уже такою мерою, которая способна была вну-

шить всякому наилучшее расположение к правительству и полное доверие к его гуманности. Известно, какое страшное орудие составляла тайная канцелярия, вместе с «словом и делом», в руках клевретов Бирона; известно также, что не один Бирон пользовался этим ужасным средством держать всех в безмолвном страхе и повиновении. Со времен Петра I тайные канцелярии, под разными названиями, постоянно, в течение полвека, были страшилищем народа. Петр III, вскоре по вступлении на престол, указом 21-го февраля 1762 г., уничтожил ее (П. С. З. № 11445); но Екатерина новым указом 19-го октября того же года (П. С. З., № 11678) еще раз ее уничтожила и вторично запретила ненавистное «слово и дело», повторивши слово в слово весь указ о том Петра III...

...Читая этот указ в 1762 г., современники, разумеется, не могли предвидеть, что через несколько лет явится на поприще полицейских исследований знаменитый Шешковский и что последующие обстоятельства заставят саму же Екатерину восстановить, к концу своего царствования, уничтоженную ею тайную канцелярию, под именем тайной экспедиции. Да если б это и могли предвидеть, то все-таки не могли не радоваться при данном облегчении, хотя бы и на краткое время,

Но не одно уничтожение тайной канцелярии привлекло к Екатерине сердца ее подданных в самом начале ее царствования. Она и вообще каждым своим распоряжением напоминала, что она, по ее выражению в «Секретнейшем наставлении» кн. Вяземскому при определении его генерал-прокурором (см. «Чт. Моск. общ. ист.», 1858 г., кн. I, Смесь, стр. 101), «иных видов не имела, как наивысшее благополучие и славу отечества; иного не желала, как благоденствия своих подданных, каково бы звания они ни были». В указе «о выходе беглым из-за границы», данном 19 июля 1762 г., то есть через три недели по вступлении Екатерины на престол, она говорит: «Положили мы главным намерением нашим, чтобы всегдашнее старание иметь о целости нашей империи и о благоденствии верных подданных наших, *чему мы и действительные опыты в краткое время государствения нашего уже показали и впредь еще большие да и с великим удовольствием о том попечение прилагать не оставим*» (П. С. З., № 11618). И действительно, — немедленно по вступлении на престол Екатерина отменила разные обременительные положения, утвержденные Петром III, относительно гвардейских полков, увеличила жалованье и пайки солдатам некоторых полков, велела понизить повсюду цену соли, объявила амнистию всем беглым, скрывавшимся в Польше и Литве, установила апелляционные сроки для тяжёбных дел, издала подробный указ «о коммерции, торгах и отку-

пах», в отмену указа Петра III от 28 марта, в котором оказались «многие неудобства, клонящиеся ко вреду и тягости общенародой» (П. С. З., № 11630); [повелела, «вместо бывших сыщиков, сделать в губерниях и провинциях *благоприятнейшее* учреждение, как бы воров и разбойников искоренять» (П. С. З., № 11634);] весьма резко и энергически восстала против лихоимства... Словом, почти с каждым днем являлись новые знаки ее заботливости о благосостоянии государства, и при этом нужно еще заметить, что Екатерина нисколько не старалась замаскировать печальное положение, в котором она застала государство, принимая власть в свои руки. Напротив, она сама старалась выставлять сколько можно резче существовавшее до нее зло, чтобы тем более заставить ценить те меры, какие принимались ею для уничтожения этого зла...

...Все должно было проснуться от давней дремоты; апатический застой невежественного общества должен был уступить место смелому и быстрому стремлению вперед, к улучшениям и усовершенствованиям во всех частях народного быта и государственного управления. Мы видели, что Екатериною было поднято чрезвычайное много существеннейших вопросов государственной жизни, что она не оставила без внимания ни финансы, ни торговлю и промышленность, ни положение войска, ни судопроизводство, ни законодательство. В особенности относительно законодательства она дала такие задатки своего мудрого попечения о благе народа, что возбудила изумление целой Европы. Известен факт созвания ею комиссии для составления нового уложения. В январе 1767 г. объявлено было, чтобы в течение полугода собрались в Петербург депутаты из всех провинций России, от всех племен и сословий, не исключая и крестьян. В июле действительно собрались депутаты, комиссия была открыта и получила себе в руководство знаменитый «Наказ» (П. С. З., № 12945 и 12949). Комиссия составила из 645 депутатов; на нее отпущено было 200 000 рублей; в декабре 1768 г. она приостановлена, ничего не сделавши. Срок окончания ее занятий несколько раз был отсрочиваем: сначала до 1 мая 1772 г., потом до 1 августа, потом до ноября, затем до 1 февраля 1773 г. Наконец, оказавшись совершенно неспособною к законодательству, комиссия для составления проекта нового уложения осталась только по имени; в 1796 г. она была переименована Павлом I в комиссию составления законов, в 1804 г. снова преобразована и т. д. Но, несмотря на некоторую бесплодность созвания государственных сословий в 1767 году, оно произвело в то время необыкновенный восторг не только в русских, но и за границею. «Наказ» обошел всю Европу как блистательное свидетельство высоких качеств ума и сердца императрицы русской. Созвание (по вы-

ражению объяснителя к сочинениям Державина) «депутатов из всех народов, составляющих Российскую империю, от дальнейших краев Сибири, камчадалов, тунгусов, от каждой области по два человека, даже якутов и пр.» — оставило памятник по себе в следующих стихах певца Екатерины (Держ. I, стр. 144):

Ее изобрази мне ты,
Чтоб, сшед с престола, подавала
Скрижалей заповедь святых,
Чтобы вселенна признавала
Глас божий, глас природы в них;

Чтоб дики люди, отдаленны,
Покрыты шерстью, чешуей,
Пернатых перьем испещренны,
Одеты листьем и корой,
Сошедшия к ее престолу
И кротких вняв законов глас,
По желтосмуглым лицам долу
Струили токи слез из глаз⁵...

Но особенно рельефно выразился всеобщий энтузиазм того времени к великому начинанию в речи, которая произнесена была представителем всех депутатов, 27 сентября 1767 г., при поднесении императрице титула Премудрой, Великой, Матери отечества. Мы приведем из этой речи, помещенной в Полном собрании законов (№ 12978) две тирады; одна изображает мрачное положение России пред вступлением на престол Екатерины, другая — благоденствие отечества под ее правлением.

Плачевное отечества нашего состояние до преславленного навеки достопамятного восшествия богом избранные и венчанные всеавгустейшие наша самодержицы на всероссийский императорский престол не токмо всем россиянам, но и целому свету известно. Когда мысленно воззрим на минувшее время, дух в нас еще трепещет и падение империи живо представляется воображению. Бидели мы веру поруганную, законы, приведенные в замешательство, правосудие, изнемогшее с падением законов, с правосудием истребленную совесть и добронравие. Государственные доходы истощались, потеряна была доверенность и угнетена торговля; грабительство, лакомства, корыстолюбие и прочие пороки, покровительством многих людей ободренные, возрастали с гибелью народа и усугубляли бедствия отечества нашего; и наконец везде неустройства торжествовали, где следовало царствовать порядку...

Перемена дивная вдруг последовала! Радость прогнала тьму печалей!.. Со дня восшествия ее императорского величества на престол, все дни ее можем исчислить благодеяниями, *вреды и неустройства исправлены и прекращены; православная вера наша торжествует и зрит монархиню, дающую пример подданным в благочестии; правосудие царствует купно с ее величеством на престоле; человеколюбие обитает в ее душе и без послабления смягчает строгость законов. Пороки исчезают и корень их пресекается; но с кротостию исправляются нравы, просвещаются умы, и добродетели, под священной сению престола, процветают; нужнейшие роду человеческому искусства — земледелие и домоводство — монаршим взором ободряются, торговля возрастает, и с нею изобилие рукоделий умножается; везде введены полезные учреждения, и словом — во всех*

частях государственных, во всех делах разум и добродетели нашей великой государыни сияют и не обретают ничего выше сил своих. Но печась о настоящем, премудрая наша самодержица печется и изливает благодеяния на времена и будущее, и пр. ...

Эту речь можно назвать первообразом той сатиры, которая получила такое развитие в журналах 1769—1774 гг. и рассмотрению которой посвящена книга г. Афанасьева. В речи депутатов мы видим две половины, противоположные одна другой: в первой излагается ужасное положение России до Екатерины, расстроенное до последней степени и грозившее падением империи; во второй прославляются неимоверные успехи, совершенные Россией в пятилетний период от 1762 до 1767 года. Те же две стороны находим мы и в сатирических произведениях екатерининского времени: все они с необычайною резкостью восстают против общественных пороков, но во всех выражается довольно ясно та мысль, что эти пороки и недостатки суть исключительно следствия старого неустройства, остатки прежнего времени, и что теперь уже настала пора для их искоренения, явились новые условия жизни, вовсе им неблагоприятные. Эта мысль, положенная в основание всякого обличения, всякой сатиры, служит даже объяснением резкости тогдашних журналов, удивительной и для настоящего времени, когда наша гласность сделала такие огромные успехи! Сатирики 1770-х годов, проникнутые верою в близкое усовершенствование России, вследствие принятых императрицею мер, считали священным долгом содействовать путем литературным всем ее начинаниям. И чем более проникались они благоговейным восторгом к действиям Екатерины, тем смелее и беспощаднее становилось их обличительное слово против старых злоупотреблений, — потому что все доброе и полезное они соединяли с волею императрицы, а все злое и недостойное разумели как противоборство ее намерениям и желаниям. Таким образом, сатира на все современное общество являлась в произведениях благородных сатириков не чем иным, как особым способом прославления премудрой монархини. Указывая недостатки управления и карая вопиющие злоупотребления во всех родах, сатирики отнюдь не думали делать укоры самому правительству: напротив, они говорили: «вот как презренны и низки некоторые люди, не понимающие благотворных видов монархини и не желающие им содействовать». И, отправляясь от этой мысли, сатирики уже не церемонились с «безумными и порочными», в которых видели противников обожаемой монархини. Иногда обличения тогдашних журналов заключали в себе и прискорбную мысль о том, что как трудно прогрессивному правительству бороться с невежеством и недобросовестностью отсталых людей; но и это бывало очень редко. Чаще же всего горькие истины обличения скрашивались

отрадным убеждением, что все-таки дело прогресса идет вперед и что скоро правда и свет одержат решительную победу над ложью и мраком. Издатель «Вечеров» в самом начале своего журнала говорит о том, что «ябеды узловатее становятся, а крючки больше растут, подьячие богатеют», и пр. Но вслед за тем он прибавляет: *«однако вскоре воссияет истина, исчезнут совсем приказные сплетни, воспоют музы, прославят царствующую на земле Астрею, прославят такими стихами, которые ее достойны, а не достойные умолкнут* («Веч.», ч. I, стр. 5). Такие надежды — и не при начале только сатирических изданий, а во все продолжение царствования Екатерины — выражались нередко даже в виде положительной уверенности, хотя, обращаясь к действительности, сам автор тут же находил вещи, совершенно не идущие к златому веку. Так, например, Василий Новиков, в посвящении своего «Театра судоведения», 1791 г., говорит: *«во дни благословенного державствования в стране, где царствует правосудие и торжествует невинность, где изгоняется порок и водворяется добродетель, где низится невежество и возвышается просвещение, в сии дни блаженства я, рожденный и воспитанный, приемлю смелость»*, и пр. ...А через несколько страниц, в заключение своего предисловия, он же пишет: *«великим бы почел я торжеством для моих трудов, если бы чтение сей книги заступило место карточной игры и других пустых времяпровождений, столь мало приличных важности судейского звания»* («Т. суд.», ч. I, стр. 6.). Сличения подобных мест могут наводить на мысль, что восторги тогдашних писателей были не более, как риторическою фразою, которая ставилась, может быть, с умыслом, чтобы под ее защитою смело поражать пороки. Но такое заключение будет несправедливо: характер всей сатиры екатерининского времени отличается самым искренним уважением к существующим постановлениям и преследованием исключительно одних только злоупотреблений. Доказательством этого служит и манера обличений, и даже внешняя история сатиры. Замечательно, что прекращение сатирических журналов совпадает с концом первой турецкой войны и усмирением пугачевского бунта. В первые годы царствования Екатерины было чрезвычайно много материалов для сатиры, потому что много было людей, осмелившихся восставать против правления Екатерины. В 1762 году разносились по России ложные слухи о ее намерениях, издавались фальшивые манифесты, волновались крестьяне разных местностей, как видно из указов по этим предметам, данных чуть не в первые дни царствования Екатерины. В 1763 г. составлен был целый заговор Хрущовыми и Гурьевыми; в 1764 г. произошла попытка Мировича. С этих пор, в течение десяти лет, постоянно каждый год выходило по несколько указов — то о публичном сожжении пасквилей

и о наказаниях тех, у кого они окажутся, то о предостережении от предрезких речей, то об усмирении крестьян, увлекшихся ложными слухами. В 1771 году было серьезное волнение по поводу моровой язвы; наконец, в 1773 г. разразился пугачевский бунт... Все это очень беспокоило тогдашнее правительство, и Екатерина прилагала все старания, чтобы своими распоряжениями привлечь к себе сколько можно более приверженцев и предупредить могшее возродиться недовольство. Одним из орудий ее в этом деле была литература. Конечно, в тогдашнем обществе литература почти ничего не значила; но к ней обратились, вероятно, отчасти вообще по естественной людям наклонности к благоприятной для них гласности, а всего более — по соображению того, какое значение имела литература, и особенно сатира, во французском обществе. Видя, как француз боится насмешки, зная, какое страшное влияние имел Вольтер, надеялись, вероятно, что и в России сатира может занять довольно почетное место в ряду других средств, служащих к уничтожению противников благих мер Екатерины. Этим отчасти может быть объяснено даже то усердие, какое она сама прилагала к сочинению комедий и сатирических безделиц, под названием «Былей и небылиц». Но в видах Екатерины вовсе не было того, чтобы дать литературе неограниченное право рассуждать о политических предметах и смеяться над всем, что не будет нравиться писателям. Она очень не любила, когда под видом гласности в литературу прокрадывались какие-нибудь «продерзкие речи». Вот почему, когда внутреннее спокойствие было совершенно восстановлено, а конец первой турецкой войны возвеличил имя Екатерины и в Европе, когда остатки старого недовольства и недоверия к ней стали ей уже не страшны, она охладела к сатире, как к вещи уже ненужной и могущей быть только вредною для ее спокойствия. С 1773 года она перестала писать комедии и возвратилась к этому занятию только уже через десять лет, когда, вместе с княгиней Дашковой, вздумала подвинуть вперед русскую науку заведением Российской академии. В 1774 г. прекращаются и сатирические журналы. Разумеется, сатира, раз явившись, все-таки не могла быть совершенно уничтожена; сатирический элемент никогда не исчезал в нашей литературе с самого начала ее; но с этих пор нет уже у нас того внешнего признака, по которому можно следить действия сатиры шаг за шагом и судить о ее распространении в обществе и о степени успеха, — нет более периодических изданий, отличающихся сатирическим характером. Мы не имеем никаких данных, по которым бы можно было утверждать, что сатирические издания вообще после 1774 г. подвергались каким-нибудь официальным стеснениям и преследованиям. Но самый их характер объясняет до некоторой степени их падение. Они были

живы, блестящи, эффектны, интересны, даже дерзки до тех пор, пока имели дело с остатками отжившего порядка, против которого шла сама Екатерина. Над этими остатками и потешались они в течение пяти лет. Но мало-помалу люди старого времени заменялись людьми свежими, противники нового направления удалены, в силу вошли его приверженцы, приняты меры, каких прежде не было, сделаны преобразования в старинном порядке. Если теперь и были в администрации и в обществе недостатки, то недостатки эти уже нельзя было сваливать на старое время: нужно было говорить прямо против существующего порядка. А этого-то и не могла тогдашняя сатира: до этого-то и не доросла она, не доросло и само общество, в котором приходилось ей действовать. Ясно, что круг ее действия должен был очень сузиться: она могла, например, восставать против ужасов пытки, когда сама императрица неоднократно высказывала отвращение от этой ненавистой судебной меры (см., напр., два указа 15 января 1763 г.); но когда потом обстоятельства привели к восстановлению тайной экспедиции и когда явился страшный Шешковский, тогда разумеется; кричать против пытки стало не очень повадно. Сатирики не хотели подвергаться опасности и молчали. Подобного рода обстоятельства парализовали смелость и откровенность сатиры и в отношении к другим предметам. Таким образом, значение сатирических изданий потерялось в публике: сатиры на дурных стихотворцев, на подражателей французам, на скупцов и мотов, на хвастунов и рогатых мужей и т. п., конечно, оставались в полном распоряжении литературы; но эти предметы не могли уже так занять публику, как обличение дурных судей, помещиков, попов, вельможной спеси и невежества, пыток, ханжества и т. п. Зато, вместо новых журналов, в течение многих лет и перепечатывались те из старых, в которых с особенной резкостью затрагивались эти предметы. Особенный успех имели «Живописец», «Трутень» и «Вечера». «Живописец» имел шесть изданий, последнее — в 1829 г.!

Мы сказали, что кроме внешней истории екатерининской сатиры, самая манера ее может служить доказательством того, что тогдашние сатирики не любили добираться до корня зла и могли поражать пороки только под покровом «премудрой Минервы, позволявшей им знать и мыслить». Манера эта [не совсем незнакома нам: она] состояла главным образом в употреблении *задних чисел*. Существующее зло обличалось обыкновенно как исключительное явление, составляющее странную аномалию с существующим порядком. Трудно объяснить положительно, отчего это происходит. Иногда такая манера бывает неискренняя, и тогда немудрено бывает понять ее; но у тогдашних сатириков замечается при этом какое-то трогательное простодушие. Они, кажется, до того увле-

кались созерцанием будущих благополучий, что, наконец, воображали их уже наступившими и, принимая слова за дела, считали все гадости действительного мира лишь дряхлыми остатками прежнего, отживающими последние дни. Так, описывается ли у них судья-взяточник, — он уже непременно отставлен и бранится за это; говорится ли о своевольном помещике, — он непременно представляется сожалеющим о том, что теперь уже нет прежнего простора для его произвола; осмеиваются ли подлость и ласкательство, — тут же неизбежно прибавляется замечание, что теперь уж этими качествами нельзя выйти в люди, как прежде. В «Вечерах», например, один господин рассуждает: «я свое благополучие считаю в том, когда меня большие бояре ласкают. Правду сказать, я до сего счастья с великим трудом достигаю, *особливо в нынешнее время*: как я ни хвалю их в глаза, как я ни стараюсь услуживать им, но все не клеится». К этому услужливому господину пристаёт судья, отставленный за взятки, и ведет такую речь: «правду ты говоришь, что ныне *услуги не награждают*: тому примером я служить всем могу. Я знаю все указы наизусть, умею их толковать по своему желанию; но, *несмотря на сие, меня отставили*... Ведь, кажется, все равно государству, что у меня деньги в кармане, что у того, с кого взял: *но в нынешнее время об оном не рассуждают*» («Веч.», III, 173). В «Вечерах» же изображается господин *Оттягов*, который «всех меньше дело смыслил, всех чаще на поклоны ездил и *за сии великие достоинства получил чистую отставку*» («Веч.», I, 57). В «Живописце» напечатан целый ряд писем к Фалалею от уездных дворян — его отца, матери и дяди. Весь смысл этих писем заключается в том, что нынешнее время не так благоприятно для своевольства, жестокостей, обманов и пр., как прежнее блаженное время. Это похоронный плач о погибшей дворянской воле, это вопль проклятия просвещению и правде, торжественно и незыблемо воцарившимся в области тьмы и застоя. В книге г. Афанасьева приведено, в разных местах, много выписок из этих писем, а на стр. 139—145 три письма помещены вполне. Письма эти очень замечательны по мастерству своего лукавого юмора, и мы также решаемся привести отрывок одного из них, хотя он и довольно длинен.

<Далее следует письмо уездного дворянина к его сыну>.

...На первый взгляд письмо это может показаться чрезвычайно резким даже и для нынешнего читателя. Но если рассмотрим в него повнимательнее, то найдем, что оно составляет не что иное, как прославление правительственных мер Екатерины. Приведши его, г. Афанасьев справедливо замечает, что «в подобных жалобах лучшая похвала екатерининскому веку» (стр. 112). В самом деле, что такое представляет

собою обличаемый Трифон Панкратьевич? Ведь это в некотором роде неблагонамеренный либерал, беспокойный человек, осмеливающийся порицать, во имя невежества и своеволия, благодетельные меры императрицы... Какая же надобность щадить такого человека? как же не вылить на него всей желчи благородного негодования, накипевшего в груди у сатирика? Как не осмеять, не опозорить его нелепые понятия и о значении священного сана, и о крестьянах? Нападения *на таких* людей, недовольных просвещенными действиями правительства с *такой* точки, не могли служить ни к чему иному, как только к большему проявлению заботливости Екатерины о благе своих подданных. Сатира говорила обществу прямо и ясно: «смотрите, вот каковы те, которые выказывают недовольство современными правительственными реформами, неужели кто-нибудь захочет присоединиться к фаланге *таких* людей?» Само собою разумеется, что когда сатира имеет такой смысл, то чем она резче, тем выгоднее для правительства.

Между тем самая резкость слов давала сатирикам повод думать, что слова эти имеют большое значение и на деле. И вот второе обстоятельство, которым поддерживалось в тогдашних сатириках самодовольство, сильно мешавшее им вникнуть в свое положение, понять свои отношения к обществу, среди которого они говорили, и приняться серьезно отыскивать коренные причины зла. Поставив себя на условную точку зрения, о которой мы говорили выше, они, уже не стесняясь, выговаривали все, что было у них на душе, по поводу ежедневных мелких злоупотреблений и часто до того доходили, что пугали своих собратьев и, наконец, даже самих себя. «Трутень», например, в преследовании взяточничества зашел так далеко, что «Всякая всячина», издававшаяся статс-секретарем Козицким⁶ и сама иногда слегка затрагивавшая судей, сочла нужным напечатать против него такую отповедь, в виде письма какого-то Правдомыслова:

Случалось мне слышать от одной части моих сограждан изречение такое: правосудия нет. Сие родило во мне любопытство узнать, от чего бы такой вред к нам вкрался и справедливы ли жалобы о несправосудии? *наипаче тогда, когда всякий согражданин признаться должен, что, может быть, никогда и нигде какое бы то ни было правление не имело более попечения о своих подданных, как ныне царствующая над нами монархиня имеет о нас*, в чем ей, сколько нам известно, и из самых опытов доказывается, стараются подражать и главные правительства вообще. *Мы все сомневаться не можем, что ей, великой государыне, приятно правосудие, что она сама справедлива и что желает в самом деле видети справедливость и правосудие в действии во всей ее обширной области.* О том многие изданные манифесты свидетельствуют, а наипаче наказ комиссии уложения, где упомянуто в 520 отделении, что никакой народ не может процветать, если не есть справедлив. Где же теперь болячка, на которую жалуются, то есть.

что правосудия нет? Станем искать. 1. В законах ли? 2. В судьях ли? 3. В нас ли самих?

Закон у нас запутаны; о том сомнения нет. Сию неудобность мы имеем вообще с Европою: *но пред ней имеем мы выгоду ту, что ее величеством созвана вся нация для составления нового проекта узаконений; следовательно, питаемся надеждою о поправлении тогда, когда Европа вся не видит конца конфузии. А между тем, пока новые законы поспеют, будем жить, как отцы наши жили, с тем барышом противу них; что мы ощущаем более от высшей власти человеколюбия, нежели они. Но я скажу и то, что справедливостью распутывать можно и весьма запутанные, да и самые противуречущие законы. Итак неправосудие не в самих законах.*

Судьи у нас, как и везде, всякие. У нас их определяют обыкновенно из военнотружущих или из приказных людей без великого знания. Во многих европейских землях, а наипаче во Франции, покупают за деньги судейские места друг у друга, как товар. Итак, у кого есть деньги, тот судья, хотя бы он никакого знания не имел. Почему в сем случае наши обычаи не много разнятся от обычаев других народов нашего шара. Но врождена ли справедливость во всех судьях так, чтоб могла наградить недостаток знаний? Того никак утвердить не можно. Следовательно, жалоба на правосудие отчасти падает на судей и на нравы.

Говоря о нравах, Правдомыслов обвиняет общество в страсти к тяжбам и утверждает, что половина жалоб на судей несправедливы и происходят оттого, что неправая сторона, будучи обвинена, всегда остается недовольною и старается очернить правосудие. А чтобы правая сторона была осуждена, это, по мнению Правдомыслова, может быть не часто. «Чтоб подобных дел много могло проходить сквозь строгое рассматривание трех *апелляций*, — рассуждает он, — и в присутствии тяжущихся, тому верить не можно; ибо не много таких людей, которые бы захотели лихо творить в лице почти целого света и оставить на бумаге писанные свидетельства своего плутовства, *за которое подобные им получили возмездие по достоинству своему*». Говоря об апелляциях, о присутствии тяжущихся, о достойном возмездии за неправосудие, «Всячина», очевидно, разумет новые распоряжения Екатерины, направленные к восстановлению правосудия. Здесь сатира, можно сказать, дает сама себе тонкий намек, что продолжение нападков на судей может, наконец, принять вид неблагонамеренности и непокорства. Продолжая свои рассуждения и замечая сам, что «однако приведенное доказательство слабо», Правдомыслов выражает, наконец, без обиняков следующую мысль: «Но долг наш, как христиан и как сограждан, *велит имети поверенность и почтение к установленным для нашего блага правосудиям и не поносить их такими поступками несправедливыми жалобами, коих, право, я еще не видал, чтоб с умысла случались*». В заключение письма Правдомыслов ругает «дурных шмелей» («Трутенъ?»), которые «прожужжали ему уши своими разговорами о мнимом несправосудии судебных мест» («Всяч», стр. 277—280).

Письмо Правдомыслова есть какая-то мониторинговая статья, отчасти противная даже направлению самой «Всячины», слабейшей и осторожнейшей в обличениях, чем все другие журналы, ей современные. Но тем не менее основной ее мотив, т. е. что «у нас теперь все-таки лучше, чем когда-нибудь и где-нибудь», и что «нужно иметь уверенность и почтение к установленным правительствам», — мотив этот вовсе не чужд был екатерининской сатире. Относительно почтения «Адская почта» объяснялась, что *«знатных и в правлении великие места имеющих людей она никогда в лицо не трогала своими критическими замечаниями»*. При этом она, впрочем, с большим достоинством заметила, что *«делала сие не для ласкательства, но для того, чтобы, переправляя такие столбы, на которых огромное опирается здание, целому строению не причинить вреда»* («Ад. почта», стр. 78). В этом же смысле, вероятно, и Новиков говорит самому себе в предисловии к «Живописцу»: «Никогда не разлучайся с тою прекрасною женщиною, с которою иногда тебя видал; ты легко отгадать можешь, что она называется *Осторожностью*» («Жив.», I, 10). Этой осторожностью, чтобы не повредить зданию существующего порядка, постоянно руководились сатирики времен Екатерины, и, следовательно, они действительно убеждены были, что здание само по себе совершенно хорошо, но что его нужно только очистить несколько от накопленного в нем сора. А для того, чтобы вымести этот сор, они чувствовали в себе достаточно сил и не щадили себя для того, чтобы сделать чище и удобнее жилище российской Минервы. «По указанию Екатерины Великой, — говорит г. Афанасьев, — периодические издания выступали с своим обличительным словом, и в этом общем увлечении сатирическим направлением нельзя не признать высокой нравственной стороны современной эпохи. *Старинные суеверия, предрассудки и ложь отживали свой век; в их диком вопле против сатиры и правительственных мер слышится уже близкое торжество всеобновляющей правды*» (стр. 111). Точно так думали о себе и о своем значении и сами сатирики 1770-х годов. «Парнасский щепетильник» совершенно соглашается с мнением г. Афанасьева, говоря: «Я с восхищением вижу в некоторых головах целительное действие; ибо многие, присматриваясь пристально к описанным весьма худыми красками лицам и находя в них не знаю какое-то с собою подобие, *совершенно бросили юродствовать* и принялись за разум» («Парн. щеп.», стр. 29). Правда, следует заметить, что слова «Щепетильника» относятся не ко всем вообще обличаемым, а только к дурным стихотворцам, следовательно воззрение г. Афанасьева гораздо шире; но в пользу «Щепетильника» можно привести то обстоятельство, что он на 90 лет опередил нашего учено-

го. Впрочем, некоторыми изданиями воззрение г. Афанасьева на жизненное значение сатиры было уже принято и в то время. Так, «Полезное с приятным» пишет в своем объявлении: «Видя, с какою жадностью приемлет общество издаваемые еженедельные сочинения для увеселения оного, не можно не восчувствовать истинной радости. С каким бы намерением кто ни желал иметь оные, однако то неоспоримо, что там найдет и такое, которое *напоследок и порочное сердце устыдить и к некоторому исправлению побудить может*: а сие самое и есть предметом трудящихся в таких изданиях» (Аф., стр. 19). А «Всячина» выражается еще решительнее: «Мы не сомневаемся,—говорит она,—о скором исправлении нравов и ожидаем немедленно *искоренения всех пороков*; ибо уже начали твердить наизусть «Всякую всячину» («Всяк. всяч.», стр. 123). К сожалению, в этой заметке слышна ирония; а то мы сказали бы, что «Всячина» уже чувствовала «торжество всеобновляющей правды», о котором так лестно отзывается г. Афанасьев...

Признаемся, мы не удивляемся самоуверенности сатириков и еще менее удивимся отзывам о них г. Афанасьева. Действительно, если бы дело было только в том, чтобы уничтожить злоупотребления, опозорить людей, препятствующих правильному ходу общественной машины в том виде, как она есть, то от сатиры ничего и требовать нельзя было бы более того, что она давала при Новикове. И ежели она в самом деле не имела практического успеха, то не от слабости нападений на те или другие пороки: нет, па что она нападала, тому доставалось от нее очень сильно. Но слабая ее сторона заключалась в том, что она не хотела видеть коренной дрянности того механизма, который старалась исправить. Этой стороны не замечает г. Афанасьев, и потому суждения его о великой важности сатиры 1770-х годов отзываются весьма естественным преувеличением. Но если мы несколько поднимем уровень нравственных требований, то увидим, что и новиковская сатира была еще очень слаба и занималась менее важными предметами, оставляя в стороне главные и существенные. Чтобы не пускаться в далекие рассуждения, возьмем пример. В журналах Новикова было много обличений против жестоких помещиков. Это было очень хорошо и сообразно с намерениями государыни, находившей, что злоупотребления помещичьей власти составляют страшное зло и служат поводом ко многим беспокойствам в государстве. Но весьма немногие из тогдашних сатир брали зло в самой его сущности; немногие руководились в своих обличениях радикальным отвращением к крепостному праву, в какой бы кроткой форме оно ни проявлялось. А еще это один из наиболее простых и ясных вопросов, и новиковская сатира его поставила много лучше других.

В отношении к другим условиям, составляющим основу общественного быта, сатирики еще легче скользили по поверхности... Принявши аксиому, что

Законы святы,
Да исполнители — лихие супостаты,⁷—

они все темные явления русской жизни считали противозаконным исключением и очень часто ссылались, для подкрепления своих обличений, на вновь изданные указы. Таким образом, они сами ставили свою деятельность в зависимость от существовавшей тогда администрации и, следовательно, все основные недостатки в организации русского общества, незамеченные, а иногда даже и освященные законом, избегали и пера сатириков... Этим-то и объясняется то, на первый взгляд очень странное, явление, что сатира тогдашнего времени, при своей резкости, благородстве и постоянном соответствии с правительственными мерами, ничего, однакоже, не исправила и не переделала. Человека, который свалился с ног от тяжелой болезни, она хотела заставить ходить, расправляя его ноги разными специями... Разумеется, старания должны были остаться безуспешными.

Чтобы видеть, до какой степени бесполезны в практическом отношении все нападки на частные проявления зла, без уничтожения самого корня его, мы можем представить теперь несколько примеров того, как поставлен был сатирою екатерининского времени вопрос об отношениях крестьян и помещиков... [В настоящее время, когда крестьянский вопрос рассматривался уже правительством во всей его обширности, можно, кажется, совершенно спокойно и безбоязненно повторить то, что говорилось, почти за столетие назад, лучшими людьми времен Екатерины. Притом же характер этих обличений таков, что они имеют теперь уже только историческое значение, и если кто решится увидеть в них какое-нибудь отношение к современности, тот докажет только, что он целым столетием опоздал родиться...]

В приведенном выше письме Трифона Панкратыча к сыну его Фалалею мы уже видели, что жестоким помещиком является в сатире человек старого времени, с отсталыми понятиями, жалующийся на то, что невежество и грубость уже отжили свой век в царствование Екатерины. Такой же точно господин является в «Трутне» (1769 года, стр. 202—208, 233—240), в «отписках» крестьян своему барину в копии с его господского «указа». Эти документы так хорошо написаны, что иногда думается: не подлинные ли это? Вот выдержки из крестьянской отписки.

<Далее идут выдержки из крестьянской отписки>

...За эту отпискою помещено [слезное прощение Филатки, о котором говорится в отписке старосты, а затем напечатана] «копия с помещичьего указа», [в котором чрезвычайно ярко выражаются бесчеловечность и невежество помещика. Никакие человеческие чувства его не трогают, никакие страдания не возбуждают в нем жалости, никакие резоны не внушают ему здравого распоряжения. Он привык действовать совершенно произвольно, и тот же произвол передает] человеку, Семену Григорьеву, которого посылает Григорий Сидорович в деревню для распоряжения. Вот выдержка из его указа, напечатанного в «Трутне»:

<Далее идет выдержка из «указа»>

...«Трутенъ» ничего не прибавляет от себя к этому указу; но смысл его ясен сам по себе: [в нем обличается бесчеловечное обхождение помещика с крестьянами, или, говоря иначе «злоупотребление помещичьей власти». Вслед за «указом» Григорья Сидорыча в «Трутне» помещен рецепт *Злораду* (стр. 211), думающему «что слуг, ему подчиненных, к исполнению своих должностей ни чем иным принудить не возможно, как строгостью иль паче зверством и жестокими побоями. Для сей причины подчиненных ему слуг и за самонаименьшие слабости и оплошности наказывает зверски... Одевает, обувает и кормит он своих слуг весьма худо, утверждая, что когда сии, безумия его несчастные невольники, чувствуют голод и холод, тогда ежеминутно памятуя они свое рабство и, по его мнению, следовательно, тем побуждаются ко исполнению своих должностей. Любовь к человечеству он опровергает, но утверждает, что рабам жестокость и наказание, так как и дневная пища, необходимо нужны. Надлежит думать, что он имеет сердце, напоенное лютым зверством и жестокостью, когда не слышит вопиющего гласа природы: и рабы человеки!» Этому Злораду прописывается рецепт: «чувствований истинного человечества 3 лота; любви к ближнему 2 золотника и соболезнования к несчастию рабов 3 зол.». В «Трутне» же помещен был и другой рецепт — для г. *Безрассуда* (стр. 188—190), отличающийся тенденциею, довольно радикальною для того времени.

<Далее помещен рецепт>

...Рецепт заставляет думать, что у автора была идея о несправедливости человеческой власти вообще. «Крестьяне суть тоже человеки и даже более похожи на людей, чем иные помещики; а человеку человеком владеть как вещью — не должно». Таковы, кажется, его основные мысли. Но, всматриваясь пристальнее, находим, что и здесь была на

уме у автора только отвлеченная мораль, потому что он тут же восхваляет «человеков господ, господ отцов своих детей, а не тиранов своих рабов». Следовательно, и в этой сатейке та же непоследовательность, которую страдает вообще сатира прошлого столетия. Вместо прямого вывода: «крестьяне тоже люди, следовательно помещики не имеют над ними никаких прав», — подставлен другой, очень неполный: «крестьяне тоже люди, следовательно не нужно над ними тиранствовать»].

Гораздо далее всех обличителей того времени ушел г. И. Т., которого «Отрывок из путешествия» напечатан в «Животописце» (стр. 179—193). В его описаниях слышится уже ясная мысль о том, что вообще крепостное право служит источником зол в народе.

Вот начало этого отрывка:

Я останавливался во всяком почти селе и деревне: ибо все они равно любопытство мое к себе привлекали, но в три дни сего путешествия ничего не нашел я похвалы достойного. Бедность и рабство повсюду встречались со мною в образе крестьян. Непаханные поля, худой урожай хлеба возвещали мне, какие помещики тех мест о земледелии прилагали рачение. Маленькие, покрытые соломой хижины из тонкого заборника, дворы, огороженные плетнями небольшие одоны хлеба, весьма малое число лошадей и рогатого скота подтверждали, сколь велики недостатки тех бедных тварей, которые богатство и величество целого государства составлять должны...

Не пропускал я ни одного селения, чтобы не расспрашивать о причинах бедности крестьянской. И, слушая их ответы, к великому огорчению всегда находил, что помещики их сами тому были виною. О человечество! тебя не знают в сих поселениях. О господство! ты тиранствуешь над подобными тебе человеками. О блаженная добродетель любовью, ты употребляешься во зло: глупые помещики сих бедных рабов проявляют тебя более к лошади и собакам, а не к человекам! («Жив.», стр. 179—180).

Далее следует описание возмутительной бедности и грязи, в которой живут крестьяне *деревни Разоренной*. Между прочим, смотря на плачущих младенцев, брошенных без призора, г. И. Т. восклицает: «Кричите, бедные твари, произносите жалобы свои! Наслаждайтесь последним сим удовольствием во младенчестве: когда возмужаете, тогда и сего утешения лишитесь!» (стр. 185). Затем автор пускается в размышление о том, как нелепо судьба распоряжается людьми: празднующиеся «любимцы Плуты» веселятся, обремененные всевозможными радостями, а труженики крестьяне страдают за тяжелой работой, да и то не для себя. Вот некоторые из его сближений:

Между тем солнце, совершив свое течение, погружалось в бездну вод, и сама природа призывала всех от трудов к покою. Между тем богачи, любимцы *Плуты*, препроводя весь день в веселии и пированиях, к новым приготовлениям увеселениям... Худый судья и негодный подьячий веселились, что в минувший день сделали прибыток

своему карману и пролили новые источники невинных слез... Игроки собирались ко всеночному бдению за карточными столами и там, теряя честь, совесть и любовь к ближнему, приготавливались обманывать и разорять богатых простячков всякими не позволенными способами. Другие игроки везли с собою в кармане труды и пот своих крестьян целого года и готовились поставить на карту. Купец веселился, считая прибыток того дня, полученный им на совесть, и радовался, что на дешевый товар много получил барыша. Врач благодарил бога, что в этот день много было больных, и радовался, что отправленный им на тот свет покойник был весьма молчаливый человек. Стряпчий доволен был, что в минувший день умел разорить зажиточного человека и придумать новые плутовства для разорения других по законам. *А крестьяне, мои хозяева, возвращались с поля в пыли, в поте, измучены и радовались, что для прихотей одного человека все они в прошедший день много работали!* (стр. 188—190).

Тирада эта очень резка, и, кажется, тогдашнее *благочиние* вообще строго посмотрело на эту статью. Некоторых мест из нее даже нельзя было напечатать. В одном месте издатель делает примечание: «Я не включил в сей листок разговоров путешественника с крестьянином *по некоторым причинам*: благоразумный читатель и сам их отгадать может». Видно, и в то время существовали «некоторые причины», мешавшие писателю говорить откровенно всю правду, как скоро он удалялся от тех покровов, под которыми ратовала тогдашняя сатира вообще. Следы боязни полной гласности попадают и в других местах сатирических журналов. В защиту «Отрывка» Новиков поместил в «Живописце» особую статью, в одном месте которой находим такое примечание: «Тут следовали многие другие упреки, относящиеся к худым помещикам, но я их исключил, *опасаясь навлечь на себя сузубое негодование*» (стр. 71). В «Трутне», в числе сатирических ведомостей, есть такое объявление: «Издателю Трутня, для наполнения еженедельных листов, потребно простонародных басен и сказок: *ибо из присылаемых к нему сатирических пьес многие не печатают*; а напечатанные без всякого стыда многие принимают на свой счет и его злословят за то повсеместно» (стр. 142). Из этого можно видеть, что противодействие невежественных и сильных обскурантов много вредило в то время свободе слова, [и] писатели только и могли защищаться дозволением и милостию монархини. Но Екатерине, несмотря на обнаруженную ею любовь к литературе, иное могло быть поставлено в превратном виде; иным авторам могли быть в ее глазах приписаны неблагоприятные тенденции, и тогда уже нельзя было рассчитывать на ее защиту. Для примера можно указать на два известных анекдота о Державине: один — о «Фелице», другой — о переложении псалма 81. «Фелица», этот «хитросложенный пук хвалы», как выразилась однажды сама Екатерина по поводу другого произведения, — сделалась известною императрице

случайно, и Державин пришел в ужасное беспокойство, потому что в этой «оде» были намеки на Потемкина, Алексея Орлова, Нарышкина и других важных лиц. Но, само собою разумеется, что Екатерина не могла разгневаться на пьесу, которая начиналась обращением к ней: «Богopodobная царевна!» и оканчивалась строфою:

Прошу великого пророка,
Да праха ног твоих коснусь и пр.

Притом же стихотворение это ей представлено было княгиней Дашковой ...И вот Державину, несмотря на его «смелые» намеки на важных лиц, прислали золотую табакерку с 500 червонных и удостоили больших милостей. Но через 12 лет вздумал он поднести императрице тетрадь своих сочинений. В числе их находилось переложение 81-го псалма...^{*} После этого несколько раз бывши при дворе, Державин «примечал в императрице к себе холодность, а окружающие его бегали, как бы боясь с ним даже встретиться, не токмо говорить». Державин не мог понять, что́ это значит, но вскоре узнал, что переложение 81-го псалма принято за «якобинские стихи» и что уже велено секретно допросить поэта через Шешковского, «для чего он и с каким намерением пишет такие стихи». В это время Державину было уже с лишком 50 лет, он был тайным советником и сенатором; следовательно, трудно было подозревать его в санкюлотстве. И действительно — узнав, в чем дело, он чистосердечно объяснил, что заподозренные стихи суть не что иное, как псалом царя Давида [который, конечно, не был якобинцем], что псалом этот переложен им в простоте души и, наконец, что переложение сделано еще в 1787 году, тогда же напечатано было в «Зеркале света» (журнал издавался Туманским) и до сих пор не только не произвело вредных для государства последствий, но даже не было замечено самими блюстителями благочиния. После этого объяснения и ходатайства Зубова, к которому обратился Державин, невинность поэта была признана, и императрица возвратила ему свое благоволение (Записки Держ. См. «Рус. бес.», 1859 г., т. IV, стр. 380—382).

Случаи с Державиным очень характерны. Они показывают, как бессознательно многое говорилось и как легко принималось, пока какая-нибудь случайность не привлекала на статью или книгу чьего-нибудь неблагонамеренного внимания. «Отрывок из путешествия», о котором мы [сейчас только что говорили], может служить новым доказательством этого. Он, как видно, очень понравился публике: в «Живописце» он перепечатывался несколько раз, и даже в последние годы царствования Екатерины (пятое издание — 1793 г.), когда она уже не позволяла писать так резко, когда Радищев за

подобную книгу поплатился ссылкой в Сибирь, когда даже Державина подозревали в якобинстве. Мало того: отрывок этот был перепечатан в 1806 г. в «Московском собеседнике» (ч. II, стр. 163). И однакож дело было так щекотливо, что Новиков, напечатав сначала обещание *продолжать* эти отрывки, не мог сдержать слова, да и первый-то отрывок мог поместить не иначе, как с таким послесловием: «сие сатирическое сочинение, под названием путешествия в**», получил я от г. И. Т. с прошением, чтобы оно помещено было в моих листах. Если бы это было в то время, когда умы наши и сердца заражены были французским народом, *то не осмелился бы я читателя моего поподчивать с этого блюда, потому что оно приготовлено очень солоно и для нежного вкуса благородных невежд горьковато. Но ныне премудрость, сидящая на престоле, истину покровительствует во всех деяниях.* Итак, я надеюсь, что сие сочинение заслужит внимание людей, истину любящих» («Жив.», ч. II, стр. 194). Но и эта приписка плохо помогла: стали обвинять автора и издателя в неблагонамеренности, заметив, может быть, что в «Отрывке» бросается сильное сомнение на законность самого принципа крепостных отношений. Вследствие таких толков издатель счел необходимым поместить, под названием «Англинской прогулки», защиту «Отрывка», уверяющую, что автор вовсе не имел в виду оскорбить «целый дворянский корпус», что он более ни о чем не говорит, как только о злоупотреблениях, которых, конечно, сами дворяне не одобряют, и пр. ... [В «Прогулке» выводится приятель издателя, который говорит ему:

Я совсем не понимаю,— продолжал он,— почему некоторые думают, что будто сей листок огорчает целый дворянский корпус. Тут описан помещик, не имеющий ни здравого рассуждения, ни любви к человечеству, ни сожаления к подобным себе; и следовательно, описан дворянин, власть свою и преимущество дворянское во зло употребляющий... Кто не согласится, что есть дворяне, подобные описанному вами? Кто посмеет утверждать, что сие злоупотребление не достойно осмеяния? И кто скажет, что худое рачение помещиков о крестьянах не наносит вреда всему государству? Пусть вникнут в сие здравым рассуждением: тогда увидят, от чего останавливаются и приходят в недоимку государственные поборы; от чего происходит то, что крестьяне наши бывают бедны; от чего у худых помещиков и у крестьян их частые бывают неурожаи хлеба... Не все ли истекает от употребления во зло преимущества дворянского? Когда же неустроению сему причину худые дворяне, то не достойны ли они справедливого порицания? Пусть скажут господа критики, кто больше оскорбляет почтенный дворянский корпус; я еще важнее скажу, кто делает стыд человечеству: дворяне ли, преимущество свое во зло употребляющие, или ваша на них сатира? Итак верьте,— примолвил он,— что такие ваши сатиры не только что не огорчают дворян, украшенных добродетелью и знающих человечество, но паче еще и превозносят их. Правда, что в числе ваших критиков были и такие, которые порицали вас, будучи побуждаемы слепым пристрастием ко преимуществу дворянскому; но коль чудно и странно сие пристрастие! Как защищать упорно такое преимущество, которым сами они и все честные

дворяне никогда не пользуются!.. Я знаю еще недовольных вашим листком, но неудовольствие сих людей достойно того, чтобы вы имели к ним почтение: ибо они, не ведая вашей цели, никакого не могли поначалу сделать правильного заключения; и потому из любви ко ближнему более сожалели, нежели осуждали, что вы не с той стороны принялись за сию сатиру(?) Напротив того, бранили вас надменные дворянством люди, которые думают, что дворяне ничего не делают неблагородного, что подлости одной свойственно утопать в пороках и что, наконец, хотя некоторые дворяне и имеют слабость забывать честь и человечество, однакож будто они, яко благородные люди, от порицания всегда должны быть свободны. Сии гордые люди утверждают, что будто точно сказано о крестьянах: *накажу их жезлом беззакония*; подлинно, они часто наказываются беззаконием!

Нельзя не сознаться, что объяснение это очень искусно написано. Но тем не менее оно парализовало истинную силу «Отрывка» и придало ему тот же недалекий вид, каким отличалась вообще сатира того времени... Обличители хотели внушить помещикам правила человеколюбия, без ограничения их произвола и без изменения их юридических отношений к крестьянам. Они никак не хотели понять, что пока личному произволу оставлена хоть малейшая доля участия в распоряжении общественными делами и отношениями, до тех пор не может быть прочных гарантий для сохранения безопасности и прав личности. От этого-то непонимания и происходила та двойственность и половинчатость сатиры, которая лишила ее практического влияния на перемену нравов.]

После сделанных нами выписок (а мы привели еще не самые сильные места) для некоторых может показаться странным, что мы говорим о слабости сатиры, которая, как видно из этих выписок, была так резка и беспощадна. Особенно наше суждение может показаться несправедливым в отношении к крестьянскому вопросу, который так безбоязненно и серьезно поставлен на вид тогдашнюю сатиру. В других вопросах самостоятельное значение сатиры уменьшается тем, что она шла обыкновенно вслед за административными распоряжениями и карала зло, уже официально пораженное. Но здесь совсем другое. Дело эманципации только еще теперь осуществляется. Но и «в настоящее время, когда» вопрос этот уже близится к своему разрешению, недостатки прошлого положения дел не представлены литературой в столь резких и живых картинах, как были они представлены в сатире Новикова в то время, когда эти недостатки были еще во всей силе и распространены были повсюду в России. Известно, что при Екатерине у нас не только не хотели отказываться от принципа крепостного права, но еще распространяли его значение. В 1762 г., в первые дни по вступлении на престол, Екатерина раздала много крестьян разным лицам, содействовавшим ее воцарению, и издала указ, чтобы помещичьи крестьяне, под страхом строгого наказания, не слушали злонамеренных разглаше-

ний о том, будто их велено от помещиков отписать на казну. Затем подобные указы повторялись каждый год по несколько раз. Раздача крестьян была при Екатерине самою обыкновенною наградою дворянам. К сожалению, нет положительных сведений о количестве розданных тогда крестьян; но стоит только заглянуть в какие-нибудь современные мемуары, чтобы тотчас же напасть на исчисление сотен и тысяч пожалованных крестьян. Раскройте, например, Грибовского, и у него вы найдете мимоходом сделанные замечания, что Остерману было пожаловано 6 000 душ (Гриб., Записки, стр. 65), Трошинскому — 1 700, В. С. Попову — 1 500 в Малороссии да 1 000 в польских губерниях (стр. 81), иностранцу Алтести — 6 000 душ польских (стр. 78), графу Маркову — 4 000 душ (стр. 75), графу Безбородько — 16 000 (стр. 70), Н. И. Салтыкову — 6 000 (стр. 61)... Державин в своих Записках жалуется, что ему в день торжества мира с турками, в 1793 г., ничего не пожаловали, между тем как он «в сей день провозглашал с трона публично награждения отличившимся в сию войну чиновникам несколькими тысячами душ» («Рус. бес.», IV, стр. 349). В 1783 г. закреплены крестьяне в Малороссии. Все это должно бы заставить сатириков молчать о вопросе помещиц, но несмотря на то, они говорили резко, смело, [свободно. Можно ли не отдать им дани справедливого удивления и благодарности?

Да, конечно, усилия сатириков все-таки заслуживают нашей благодарности, как и Державин заслуживает благодарности за переложение псалма 81. Но не следует преувеличивать их значения. Заслуги их можно бы восхвалять сколько угодно: от этого ничего дурного не вышло бы]. Все это очень хорошо, ответим мы; но не хорошо, когда делу придают такое значение, какого оно не имело: это имеет ту дурную сторону, что очень стесняет наши требования и заставляет довольствоваться исполнением, которое вовсе неудовлетворительно. Поэтому мы считаем необходимым заметить следующее. Во-первых, сатира новиковская нападала, как мы видели, не на принцип, не на основу зла, а только на *злоупотребления* того, что в наших понятиях есть уже само по себе зло. Во-вторых, даже и резкость нападок на самые злоупотребления была большею частью следствием недоразумения и наивности, вроде державинского переложения псалма. Конечно, Екатерина указами запрещала верить слухам об освобождении, но уже это самое доказывает, что были об этом слухи, и довольно распространенные. И говорят, действительно мысль об освобождении была и у Екатерины в первое время ее царствования. Есть известие, что был даже предложен вопрос об этом которой-то академии, и академики сочинили даже рассуждение, которого содержание понятно из эпиграфа: *in favorem*

libertatis omnia jura clamant, sed est modus in rebus*. Хо-рошему всегда веришь охотнее, а писатели екатеринин-ского времени так увлечены были мечтою о золотом веке, так доверяли мудрости российской Минервы, так привык-ли ждать всего прекрасного от царствующей над ними Астреи, что готовы были не только поверить первому слу-ху об освобождении ею крестьян, но даже и сочинить на этот слух восторженную оду. Некоторые намеки, ложно растолкованные в первых манифестах Екатерины, подали им надежду, а отобрание в пользу казны имений мона-стырских и церковных убедило их в легкости исполнения ожидаемого. И затем, в течение многих лет, ничто уже не могло разубедить их. Не только Новиков, в 1769 и 1772 гг., но даже писатели после 1783 г., то есть после закрепления малороссийских крестьян, поддавались первой вести о сво-боде и приходили в неописанный восторг. До какой сте-пени легко возбуждался этот восторг и какие удивитель-ные размеры и формы придавал он и самым обыкновенным, и невозможным вещам, можно видеть из следующего приме-ра. Указом 15 февраля 1786 года Екатерина повелела не подписываться на прошениях к ней *рабом*, но *верноподдан-ным*. Понятно, что это было дело простой формальности и не давало русскому народу никаких особенных прав. Но что же делает литература? Один из замечательных ее деятелей, и притом сатирик, приходит в восторг неслыхан-ный и пишет «Оду на истребление в России звания раба», в которой придает изменению формальности в подписи вот какое значение (соч. Капниста, стр. 294):

Теперь,— о радость несказанна!
О день — светлая всех побед!
Царица, нсбом ниспосланна,
Неволи тяжки узы рвет.
Россия! ты свободна ныне!
Ликуй! вовек в Екатерине
Ты благодать бога зреть должна.
Она тебе вновь жизнь дарует
И счастье с вольностью связует
На все грядущи времена..
Обилие рекой польется
И ризу позлатит полей;
Глас громких песней разнесется,
Где раздавался звук цепей.
Девиц и юнош хороводы
Выводят уж вослед свободы
Забавы в рощи за собой;
И старость, игом лет согбенна,
Пред гробом зрится восхищенна,
С свободой встретья век златой!

* В пользу свободы вопиют все права, но всему есть мера

И все это оттого, что изменена форма подписи на прошениях! Вот и судите по этому, до какой степени простиралась наивность наших сатириков прошлого столетия! Ведь этот же самый Капнист, в другом настроении духа, готов был бы написать и сатиру на тех, которые вздумали бы уверять, что указ 15 февраля 1786 г. вовсе не дает освобождения.

И ведь любопытно, то, что никакой опыт не научает русского поэта. Все иллюзии Капниста, разумеется, разлетелись прахом. По случаю открывшихся в 1787 г. войн с Турцией и Польшею раздача вотчин усилилась; еще большие размеры приняла она при Павле I, который, в первые же дни по вступлении на престол, роздал, как замечено в объяснениях к сочинениям Державина (т. I, стр. 527), до 300 000 душ крестьян. Можно бы ожидать, что последующие события будут уже приниматься осмотрительнее, что дух надежды несколько упадет. Но вот настал 1801 год, вступил на престол император Александр I, и оживились замолкшие было надежды. В 1803 г., 20 февраля, издан указ о свободных хлебопашцах. Как известно, указ этот имел самое ограниченное применение; но в воображении некоторых пиит размеры его вышли громаднейшие. «Свободу и блаженство всей Российской империи» — вот что увидели в этом частном распоряжении, ни более ни менее...

...Но возвратимся к екатерининской сатире. Мы видели, что даже в вопросе об отношениях помещиков и крестьян сатира думала итти за великою монархиною, которая совсем и не намерена была поднимать этого вопроса. Тем более привязывали тогдашние сатирики все свои действия к правительственным мерам во всех других отношениях. [Спешим оговориться, что мы вовсе не ставим этого в упрек тогдашней сатире, а только хотим представить факт как он есть, с тою целью, чтобы не преувеличивать его значения. Но, вместе с тем, мы не хотим скрывать и последствий такой несамостоятельной сатиры; а] следствием было то, что она проглядела многие явления, которые по своему вредному влиянию весьма важны в русской жизни. Дело в том, что не все дурное может быть открыто и указано законом. Закон карает преступление и проступок, но не дурной характер, не внутреннее развращение человека: это-то зло, недоступное для кары закона, и должно быть уловлено и опозорено сатирою. Кроме того, есть целые отношения общественные, правильно организованные и даже признанные положительным законом, но тем не менее противные естественному праву; пример — крепостные отношения. Сатира должна преследовать все подобные явления в самом их корне, в принципе. Наконец, сами законы никогда не бывают совершенны: в данное время они имеют известный условный смысл, но с течением времени, по требованию обстоятельств, они должны изменяться; сатира,

обличая порок, должна смотреть не на то, какой статье закона он противоречит, а на то, до какой степени противоположен он тому нравственному идеалу, который сложился в душе сатирика. Вот почему мы находим, что сатира екатерининского времени, при всей своей резкости, не могла удовлетворить высокому назначению истинной сатиры именно потому, что она слишком тесно связала себя с существовавшим тогда законодательством. Конечно, она не могла поступить иначе: мы это очень хорошо понимаем, помня историю Новикова и др., и вовсе не думаем обвинять тогдашних писателей за недостаток самостоятельности. Но ведь надо же объяснить общественный факт, представляющийся нам в истории нашей литературы; надо же, наконец, бросить хоть догадку, хоть намек [если еще невозможно настоящее объяснение] на то, отчего наша литература сто лет обличает недуги общества, и все-таки недуги не уменьшаются. По нашему мнению, причина этого заключается (по крайней мере, заключалась во время Екатерины) в постоянной зависимости сатиры от случайностей положительного законодательства, и эту мысль мы стараемся доказать в нашей статье без всяких упреков и обвинений кого бы то ни было...

...«Но ведь литература не может иметь претензии на прямое административное значение: довольно с нее и того, если она старалась вообще внушать гуманные идеи и благородные чувствования. А это она делала в век Екатерины постоянно и очень усердно. Где ни раскройте сатирические журналы, везде вам попадется — то насмешка над глупою спесью, то обличение бесчеловечных поступков, то злая выходка против эгоистических расчетов, то внушение правил человеколюбия, снисходительности к низшим, правдивости перед высшими, честности, любви к отечеству и пр. В этом-то постоянстве добрых стремлений, насколько было возможно их обнаруживать по обстоятельствам времени, в этой-то неуклонной последовательности направления, враждебного всему злumu и бесчестному, и состоит высокое нравственное достоинство сатиры екатерининского периода. Пусть она не отличалась всеобъемлемостью, пусть она даже впадала в ошибки и шла иногда вслед за такими явлениями русской жизни, которым бы должна была идти навстречу. Но за это нельзя обвинять ее, нельзя над нею трунить; это будет нимало не остроумно и даже недобросовестно. Нужно, напротив, поблагодарить ее за то, что она честно делала свое дело и продолжила дорогу нам, людям позднейшего времени, для продолжения борьбы с пороком уже в гораздо больших размерах».

Так непременно возразят нам почтеннейшие историки литературы и другие деятели русской науки, о которых говорили мы в начале нашей статьи. У них вечно на языке «уважение к честным деятелям мысли», «благодарность к

глашатаям правды и добра» и т. п. Смеем уверить почтенных историков литературы, трудолюбивых библиографов и московских публицистов, что мы ничуть не менее их одушевлены уважением и любовью к таким людям, как, например, Новиков. Но неужели в русском обществе даже до сих пор степень нравственного достоинства благородных общественных деятелей может быть рассматриваема нераздельно со степенью их успеха? И неужели мы, говоря, что все старания их были безуспешны, чрез то самое бросаем тень на их благородство? Наконец, неужели мы обижаем кого-нибудь, стараясь указать причины этой безуспешности, так часто не зависевшие от воли самих деятелей? Мы ведь не упрекаем наших сатириков в подлости и ласкательстве за то, что они писали иногда пышные дифирамбы златому веку, мы не подозреваем их в боярской спеси за то, что они мало обращали внимания на состояние простого народа в их время. Подобных подозрений мы не только не высказываем, мы вовсе не имеем их. Но надо же (повторим здесь еще раз) выяснить истинное значение факта, о котором так много и так восторженно кричат сами наши историки литературы...

...Итак, не заподозревая и не унижая благородных стремлений наших сатириков, мы, однако, решаемся утверждать, что их обличения были безуспешны в век Екатерины. Причиною же безуспешности мы признаем главным образом наивность сатириков, воображавших, что прогресс России зависит от личной честности какого-нибудь секретаря, от благосклонного обращения помещика с крестьянами, от точного исполнения указов о винокурении и о шести процентах и т. д. Они не хотели видеть связи всех частных беззаконий с общим механизмом тогдашней организации государства и от ничтожнейших улучшений ожидали громадных следствий, как, например, уничтожения взяточничества от учреждения прокуроров и т. п. И зато каких результатов добились они, не говоря о сфере административной и т. д., даже в той области, которая была их специальностью,— в деле улучшения общественной нравственности? Сделаем коротенький очерк того положения, в какое пришли нравы после всех этих обличений.

Главные предметы обличения сатиры екатерининского времени были: во-первых, недостаток воспитания, невежество и грубость нравов; во-вторых, ложное образование, т. е. французские моды, роскошь, ветреность и т. п.; в-третьих, приказное крючкотворство и взяточничество. По этим трем предметам г. Афанасьев даже разделяет рассмотрение сатиры того времени по трем особым главам. Посмотрим же, что ею сделано.

Каким образом сатирические журналы осмеивали невежество, грубость и дурное воспитание, это уже мы отчасти видели из предыдущих выписок. Прибавим, что они очень верно

понимали круговую поруку дурного воспитания и грубости помещичьего быта того времени. Худо воспитанные люди, изображаемые в сатирических журналах,— преимущественно «господчики», как тогда выражались. Так, один из подобных господчиков, уже исправившийся, рассказывает о своем воспитании: «Отец мой, дворянин, живучи с малых лет в деревне, был человек простого нрава и сообразовался во всем древним обычаям; а жена его, моя мать, была сложения тому совсем противного, от чего нередко происходили между ними несогласия, и всегда друг друга не только всякими бранными словами, какие вздумать можно, ругали, но не проходило почти того дня, чтобы они между собою не дрались [или людей на конюшне плетью не секли]. Я, будучи в доме их воспитыван и имея вседневно в глазах таковые поступки моих родителей, чрезмерную возымел к оным склонность и положил за правило себе во всем оным последовать. Намерение мое было годаздо удачно; ибо я в скорое время, к удивлению всех домашних, уже совершенно выражал все те бранные слова, которые, бывало, от родителей слышу; а что до тиранства принадлежало, то уже в том и родителей своих превосходил, хотя и они в сем искусстве гораздо не плохи были» («Жив.», II, 180). Далее сообщается еще любопытная черта того времени: «Матушка моя, пришедши из конюшни, в которой по обыкновению ежедневно делала расправу [крестьянам и крестьянкам], читает, бывало, французскую любовную книжку и мне все прелести любви и нежности любезного пола по-русски ясно пересказывает...» Следствием этого было то, что тринадцати лет мальчик уже был совершенно развращен и, влюбившись «в комнатную дома нашего девку... сделался в короткое время невольником рабы своей», а потом, спознавшись с сыном соседнего помещика, воспитанным так же хорошо, принялся за игру, пьянство и пр. Другой господчик пишет во «Всякой всячине»: «Провожая дни свои в деревне, был воспитан бабушкою, которая любила меня чрезвычайно. Первые мои лета упражнялся я, проигрывая с крестьянскими ребятами целые дни на гумне: часто случалось, что бивал их до крови, и когда приходили они к учителю моему, который был старый дьячок нашего прихода, жаловаться, то он отгонял их [плетью и бранил, что они осмеливались просить на своего боярина]. Бабушка моя под жесточайшим гневом запретила ему ниже словом не огорчать меня». Четыре года учась у этого учителя, мальчик до 13 лет едва выучился разбирать букварь. Тут отец хотел ему выписать француза, но бабушка воспротивилась; «и так прошел еще год, которое время проводил я, резвяся с девками и играя со слугами в карты» («Вс. всяч.», стр. 242). В письме к Фалалею отец его также вспоминает, как он, маленький, вешивал собак на сучьях [и порол людей], так что родители, бывало, животики

надорвут со смеха («Жив.», I, 94). В «Трутне» рассказывается о дворянине, который «ездил в Москву, чтобы сыскать учителя пятнадцатилетнему своему сыну, но, не найдя искусного, возвратился и поручил его воспитание дьячку своего прихода, *человеку весьма дородному*» («Трут.», стр. 125). Подобными заметками исполнены все сатирические журналы 1770-х годов; но большая часть их обращена назад, на времена прошедшие. А во время самого разгара действий сатиры все было уже так хорошо, что сами худо воспитанные вразумлялись и очень искренно сожалели о небрежности своего воспитания. Только люди старого времени продолжали держаться своих понятий сердились на новое направление молодежи, как, например, в письме дяди к племяннику, помещенном в «Трутне» (стр. 113—120). «Ты подавал большие надежды отцу, — пишет дядя, — потому что до двадцати лет жил дома и не читал книг, совращающих с пути истины, а занимался часовником и житиями святых. Куда это все девалось?.. Сказывали мне, будто ты по постам ешь мясо, и оставя ...священные книги, принялся за светские. Чему ты научишься из тех книг? Вере ли несомненной?.. Любви ли к богу и ближним? Надежде ли быть в райских селениях, в них же водворяются праведники? Нет, от тех книг погибнешь ты невозвратно. Я сам грешник, ведаю, что беззакония моя превзошла главу мою; знаю, что я преступник законов, что окрадывал государя, разорял ближнего, утеснял сирого, вдовицу и всех бедных, судил на мзде; и, короче сказать, грешил, и по слабости человеческой еще и ныне грешу... но не погасил любви к богу, исповедываю бо его пред всеми творцом всея вселенные», и пр. ...Затем дядя перечисляет свои бдения, посты и молитвы и опять переходит к брани на ученье, из которого происходит только гордость... Все это, разумеется, клонится к тому, что старое невежество отживает, и на место его водворяется свет знания. Это еще положительнее выражается в «Живописце». Там одна барышня говорит: «Здесь вовсе свету подражать не умеют, а все то испортили училища да ученые люди: куда ни посмотришь, везде ученый человек лишь сумасбродит и чепуху городит» («Жив.», I, 63). Не упоминаем восторженных изъявлений радости о водворении гуманных понятий волею российской Минервы; мы много их привели уже выше.

И что же? Какой успех имела в этом деле сатира, которая готова была верить, что она добивает уже остатки прежнего невежества? Действительно, обличаемые ею явления были у нас в силе еще задолго прежде. Из записок Болотова (1753—54 г.), из воспоминаний Данилова, родившегося в 1722 г., мы видим, что так же было и за 20—30 лет ранее. Еще раньше было, разумеется, еще хуже. Но лучше ли было и после? Вспомним рассказы наших современников о том,

как шло их воспитание в начале нынешнего столетия. Прочтите «Семейную хронику» и «Детские годы» С. Т. Аксакова, прочтите «Годы в школе» г. Бичина (Рус. бес., 1859 г., №№ 1—4), «Незатейливое воспитание» из записок А. Щ. в «Атенее» (1858 г., №№ 43—45) и пр., — не та ли же самая история повторялась у нас в частном воспитании, вплоть до француза по крайней мере?

А общественное воспитание, т. е. то собственно, что мы называем образованием? Оно тоже было не в блестящем положении в то время, когда сатирические журналы выступили на свое поприще. Приведем одну выдержку из «Живописца» о том, как все общество враждебно расположено было к образованию.

«Что в науках, — говорит Наркис: — астрономия умножит ли красоту мою паче звезд небесных? — Нет: на что ж мне она? Мафиматика прибавит ли моих доходов? — Нет: чорт ли в ней? Фисика изобретет ли новые таинства в природе, служащие к моему украшению? — Нет: куда она годится!» и пр. Этот *Наркис* «танцует прелестно, одевается щегольски, поет как ангел; красавицы почитают его Адонидом», словом, это — светский человек. Совсем другое говорит *Худовоспитанник*, офицер-бурбон. «Науки сделают ли меня смелее? — рассуждает он, — прибавят ли мне храбрости? сделают ли исправнейшим в моей должности? — Нет: так они для меня и не годятся. Вся моя наука состоит в том, чтобы уметь кричать: пали! коли! руби! и быть строго до чрезвычайности к своим подчиненным». Однако — времена переменялись, и *Худовоспитанник* не может получить высшего чина, потому что ни о чем не умеет рассудить; обиженный, он выходит в отставку и «едет в другую неприятельскую землю, а именно в свое поместье. Служа в полку, собирал он иногда с неприятелей контрибуцию, а здесь со крестьян своих собирает тяжкие подати. [Там рубил неверных, а здесь сечет и мучит правоверных]. Там не имел он никакие жалости; нет у него и здесь никому и никакой пощады; и если бы можно было ему с крестьянами своими поступать в силу военного устава, то не отказался бы он их аркибузировать». *Кривосуд* имеет тоже сильные резоны против наук. Он спрашивает: «По наукам ли чины роздаются? Я ничему не учился, [и не хочу учиться;] однакож я судья. Моя наука теперь в том состоит, чтобы знать наизусть все указы, и в случае нужды уметь их употреблять в свою пользу. Науками ли получают деньги? Науками ли наживают деревни? Науками ли приобретают себе покровителей? Науками ли доставляют себе в старости спокойную жизнь? Науками ли делают детей своих счастливыми? Нет! так к чему же они годятся? Будь ученый человек, хотя семи пядей во лбу, да попадись к нам в приказ, то переучим мы его на свой салтык: буде

не захочет ходить по миру». В этом же роде рассуждает и *Молокосос*, которому дают чины по милости дядюшки, деньги присылает батюшка, которого начальники не только любят, но еще стараются угодить ему, делая тем услугу знатным его родственникам и пр. *Щеголиха* говорит: «Как глупы те люди, которые в науках самые прекрасные лета погубляют. Ужасно как смешны ученые мужчины; а наши сестры ученые — о! они-то совершенные дуры!.. В слове *уметь нравиться* все наши заключаются науки» и пр. *Волокита* рассуждает так: «Какая польза мне в науках? Науками ли приходят в любовь у прекрасного пола? Науками ли им нравятся? Науками ли упорные побеждают сердца? Науками ли украшают лоб (мужа)? Науками ли торжествуют над солубовниками? Нет; так они для меня и не годятся» («Живописец», I, стр. 11—30).

Почти то же самое, и даже в подобной же диалогической форме, говорил за сорок лет ранее Кантемир в сатире «Нахулящих учение». И скажем по совести: хоть одно из всех приведенных нами рассуждений «Живописца» потеряло ли свою свежесть и справедливость *даже в настоящее время*, *когда*, и пр.? Не повторяет ли до сих пор какой-нибудь Вышневецкий мыслей Кривосуда, Вихорев — Волокиты и т. п.⁸ Что же это значит? Конечно, то, что общество наше не очень далеко ушло в последние 90 лет на поприще образования! В самом деле, оглянитесь вокруг себя: чего должен ожидать и чему подвергается в нашем обществе человек, посвятивший себя занятиям наукою, даже если он не школьный педант? «Дойти до степеней известных» ему не удастся, если он честен и горд; так называемая ученая карьера у нас вовсе не пользуется почетом и представляет какую-то пародию на карьеру. Состояние до сих пор наукою у нас не приобретает; разве какой-нибудь спекулятор сочинит плохой учебник да напечатает его двадцать изданий для заведений, в которых начальствует он сам или его сваты и приятели. В обществе нашем человеку, серьезно образованному, нечего делать: если он не сядет за карты, то непременно нагонит тоску на всех присутствующих. О женщинах нечего и говорить, они еще долго не перестанут быть танцующими и говорящими куклами; сердце их еще долго будет сладостно замирать при виде усов и эплет; для того чтоб привлечь их расположение, долго еще надо будет «уметь одеваться со вкусом и чесать волосы по моде, говорить всякие трогающие безделки, воздыхать кстати, хохотать громко, сидеть разбросану, иметь приятный вид, пленяющую походку, быть совсем развязану» («Живописец», I, 26)...Где же наш прогресс, где результаты сатирических обличений?

Где ж плоды той работы полезной?

Надо, впрочем, заметить, что вопрос об образовании поставлен очень широко в приведенных нами рассуждениях.

Здесь уже вина равнодушия к наукам падает не на личные качества отдельных особ, а на устройство и направление целого общества. Действительно, глупо и непрактично в этом обществе заботиться об украшении ума науками, и все ту-поумные выходки Кривосудов, Худовоспитанников и других имеют, в сущности, глубоко справедливое основание. Если бы сатира наша сумела утвердиться на этом основании, она бы дошла до многого. В самом деле, припомните все выходки, сгруппированные «Живописцем», и задайте вопрос: что же нужно, чтобы в этом обществе могла водвориться разумность, могло распространиться истинное образование? Ответ будет простой: нужно изменение общественных отношений. Надо, чтоб никакие преимущества [знатности] и протекции не имели влияния на определение судьбы человека: тогда и *Молокосос* будет учиться, чтобы суметь чего-нибудь достигнуть. Нужно, чтобы в судах не могло быть произвола, чтобы законы [не были достоянием одной касты, а] строго и равно охраняли права каждого: тогда и *Кривосуд* поймет необходимость науки. Нужно, чтобы всякий из людей служащих [был не слепым орудием в руках другого, а] имел свою долю участия в общественных интересах: тогда и в беседах наших необходимо появится дельный разговор, и какой-нибудь *Наркис* принужден будет отказаться от своих трогающих безделок для разговора более дельного; а при этом он необходимо должен будет почувствовать цену образования... Наконец, самое главное, нужно, чтобы значение человека в обществе определялось его личными достоинствами и чтобы материальные блага приобретались каждым в строгой соразмерности с количеством и достоинством его труда: тогда всякий будет учиться уже и затем, чтобы делать как можно лучше свое дело, и невозможны будут тунеядцы, подобные *Худовоспитаннику* [который выходит в отставку, чтобы в деревне безобразничать над крестьянами]. Тогда даже и *Волокиты* (самый безнадежный народ, больше все из военных) захотят чему-нибудь выучиться, потому что иначе им не на что будет не только одеться со вкусом, но даже и убрать свои волосы... Да и *Щеголихи* тогда переменят свои воззрения, если только сами они уцелеют при таком изменении общественных отношений... А пока продолжается то положение дел, какое изображала сама же сатира екатерининского периода, до тех пор должно продолжаться «темное царство», которое недавно обозревали мы в сочинениях Островского. Просим читателя припомнить или просмотреть то, что мы говорили тогда о возможности и значении образования в «темном царстве» под влиянием самодурных отношений.

К сожалению, екатерининская сатира не удержалась на точке зрения общественности и не развила тех идей, которых

зародыш заключался в приведенном нами из «Живописца» очерке русских воззрений на образованность. Кажется, сатирики и сами, впрочем, не совсем ясно сознавали возможное значение этого очерка. Из других статей сатирических журналов видно, что они полагали всю надежду на книги и училища. Что касается до книг, то мы уже говорили выше, много ли значения могли иметь они и какие затруднения встретились им тотчас же, как только стало похоже на то, что они приобретают самостоятельное значение.

Скажем несколько слов об училищах. О заведении их заботилась Екатерина с самого начала своего царствования. Преимущественно обращено было ее внимание на заведение «воспитательных училищ», которых цель была, по выражению Бецкого, произвести в России «новую породу людей» (Доклад Бецкого 12-го марта 1764 г.). В этих видах основаны были женские воспитательные училища, где и положено начало тому закрытому, казенному воспитанию, против которого так сильно восстает современная педагогика за то, что оно отчуждает детей от семьи; на тех же началах основано было несколько кадетских корпусов. Собственно же к устройству училищ, не имеющих воспитательного значения, Екатерина приступила только уже во вторую половину своего царствования, да и то потому, что на устройство воспитательных заведений во всех городах, по первоначальному плану, недоставало денег. В 1775 г., при учреждении губерний, вменено было в обязанность приказам общественного призрения — стараться о заведении училищ; но это ни к чему не повело: приказы не открыли почти ни одного училища, отзвываясь тоже неимением средств. По местам и пробовали открывать формальным образом, но ни учителей, ни книг не откуда было взять, и ученики не являлись. Это все было около того времени, когда литература пела уже разлитие лучей просвещения по всем закоулкам русского царства. Наконец, в 1782 г. составлена комиссия об учреждении народных училищ. В комиссии этой, вместе с Бецким и Завадовским, участвовал известный педагог Янкович ди Мириево. В обзоре деятельности этого человека, изданном в прошлом году г. Вороновым, находятся любопытные сведения о первоначальном заведении училищ при Екатерине. Нужно сказать, что 1782—84 годы были временем особенно литературного и ученого настроения императрицы. Тут она основала Российскую академию, дозволила заведение вольных типографий, составила план сравнительного словаря всех языков и наречий, издавала с Дашковой «Собеседник». Тут же шло и дело об училищах. Предварительные работы комиссий были представлены через три года, и 5 августа 1786 г. издан указ об открытии народных училищ во всех городах Российской империи. В то же время приказано было комиссии составить

план для учреждения гимназий и четырех университетов. сначала в Екатеринославле, а потом во Пскове, Пензе и Чернигове, с тем, притом, чтобы профессора были русские. Комиссия была в затруднении и обратилась в Академию наук и в Московский университет с просьбою, не могут ли они уделить несколько профессоров для новых университетов. Те отвечали, что у них у самих мало. Вследствие того комиссия донесла в 1787 г., что необходимо вызвать ученых иностранцев, да и то на четыре университета вдруг набрать трудно и потому не достаточно ли покамест учредить хоть один. При этом представлялся и план нового университета. Это было в 1788 г. Но тут политические заботы помешали, и до смерти Екатерины не было учреждено ни одного университета.

Гимназии тоже были открыты уже в царствование Александра.

Немногим лучше устроилось дело и собственно народных училищ. В то время, как издан был указ об их открытии, государственные финансы были уже крайне истощены, и потому вся хозяйственная часть предположенных училищ отнесена была не на государственное казначейство, а на счет приказов общественного призрения. Но и в приказах денег было очень мало, и потому многие из предполагавшихся училищ вовсе не открыты, а другие и открывались, да потом сами не рады были. Администрация их была самая сложная, они зависели и от своего директора или смотрителя, и от председателя и чиновников приказа, и от губернатора, и от комиссии училищ. Средства были очень скудные, помещение плохое, жалованье учителям ничтожное, содержание казенным ученикам выдавалось неисправно, учебных пособий почти никаких не давали. Естественно, что ни у кого не являлось охоты ни учиться, ни быть учителем, тем более что ученые не вознаграждались никакими преимуществами, а учителя даже чинов не получали и должны были непременно прослужить в своей должности — преподавателя в высших классах не менее 23, а в низших не менее 36 лет, для того чтобы получить чин коллежского асессора и выйти в отставку без всякой пенсии. Вообще ученье было в загоне, и им вовсе не дорожили даже и по внешности. Дворяне обыкновенно записывались прямо в полк, после такого воспитания, какое описывалось в «Живописце» и в «Трутне», и когда при императоре Александре последовал указ о производстве в офицеры только грамотных, то оказалось чрезвычайно много не знавших грамоты унтер-офицеров из дворян. Таковы были результаты стараний о заведении народных училищ, — стараний, на которые тогдашняя литература возлагала такие надежды и по поводу которых воспевала златой век в царство знаний в России.

Но откуда же эта скудость денежных средств, помешавшая осуществлению просвещенных намерений Екатерины? Мы знаем, что она начала свое царствование повелением бить медную монету по 16 рублей из пуда, вместо 32, как было прежде, начертанием новых правил для нашей заграничной торговли, «к облегчению тягости народной», понижением цены на соль, и пр. Значит, большой скудости при начале не было. А в течение своего царствования она ввела новый порядок сбора податей, повелела генерал-прокурору составлять ежегодные бюджеты, которых прежде не было, вообще, по учебнику Устрялова, «чрезвычайно увеличила государственные доходы, без отягощения подданных»: при начале ее царствования наши доходы составляли 20 миллионов, а при конце доходили до 50 (см. Устр., II, 259). Какая же могла быть скудость, судя по этим сведениям, занесенным даже в учебник?.. Правда, судя по этому месту учебника, нельзя предполагать оскудения финансов; но это потому, что здесь излагаются, между прочими деяниями Екатерины, и благотворные меры ее для улучшения финансовой части. Указаний же на расстройство финансов при Екатерине нужно искать в другом месте, там, где излагаются г. Устряловым благотворные меры императора Павла для улучшения финансовой части. Там действительно и находим (стр. 275—276):

Государственные финансы в последние годы царствования Екатерины находились не в цветущем состоянии: обременительные войны с Турцией, Швецией, Польшей, Персией истощили казну; доходы не покрывали расходов; внешний долг, незначительный до начала второй Турецкой войны, от новых займов увеличился до 46 миллионов рублей серебром; долг внутренний, составившийся от выпуска ассигнаций, простирался до 157 миллионов, заграничные переводы были невыгодны, денежный курс с каждым годом быстро понижался; ассигнационный рубль со времени второй Турецкой войны постепенно упал и в 1796 г. стоил только 68 к. на серебро; всеобщее потрясение европейской торговли французской революцией расстроило и наши коммерческие обороты, банкротства увеличались; общественный кредит колебался.

Так вот к чему привело непомерное увеличение доходов. Однакоже все-таки отчего это? Конечно, войны были, да ведь войны все оканчивались счастливо: мы приобрели в царствование Екатерины 32 000 квадратных миль земли и на 12 миллионов увеличили народонаселение. Кроме того, были экстраординарные источники доходов. Например, монастырские крестьяне, в числе 900 000, были взяты в казну и обложены довольно высокою по тогдашнему времени податью (указ 26 февр. 1764 г.); раскольников, которых Петр III велел было освободить от всяких розысков (февр. 1762 г.), велено было указом 3 марта 1764 г. при новой ревизии всех переписать аккуратно и обложить двойным подушным окладом. Но дело в том, что подобных доходов было все-таки

мало для покрытия необычайных расходов, которые нужны были в то время. Причиною этих расходов была всеобщая роскошь, распространившаяся в то время, и против нее-то, между прочим, восставали тогдашние сатирики с особенною силою, хотя, разумеется, опять не проводили уровня своей сатиры над всем обществом, а выбирали, что помельче. «Трутень» изображает мота, который «то в день съедает, что бы в год ему съесть надлежало... держит шесть карет и шесть цугов лошадей, опричь верховых и санных... и сносит в год до двадцати пар платья» («Трут.»., стр. 219). «Смесь» обличает таких, которые на один стол издерживали в год до 14 000 рублей. «Живописец» обличает модных дам, которые прогуливались по гостинному двору и обнаруживали «превеликое желание покупать, или, лучше сказать, брать всякие нужные и ненужные товары» («Жив.», II, 133). В «Трутне» осмеивался помещик, который содержал «великое число псовой охоты и ездил на ярмарки верст за 260 весьма великолепно, а именно: сам в четвероместном дедовском берлине на 10 лошадей, и еще 12 колясок, запряженных 6 и 4 лошадьми, исклячая повозок и фур с палатками, поваренною посудой и всяким его господским стяжанием» ...Об этом дворянине, однакож, замечается, что он проживает не больше ежегодного своего дохода, а получает он шесть тысяч рублей («Трут.»., 125). Из этого отчасти уже видно, что сатира того времени признавала главным источником роскоши — не дедовское житье со всей его сытностью и раздольем, а нечто другое. Это другое заключалось именно в подражании французам. Большая часть наших злобных сатир на французов произошла не столько из «любви к отечеству и народной гордости», сколько с досады на то, что они нас разоряют. Нападали на французских парикмахеров за то, что они с иных «господчиков» получают по 30 р. в месяц, а с других берут 200 р. в год, платье, стол и экипаж («Ад. поч.», стр. 14). Обличали французских портных, которые «продают искусство свое весьма дорого» («И То, и Се», нед. 24), самозванных учителей, которые ни за что ни про что получали большие деньги, обыкновенно рублей 500 со столом, прислугою и экипажем («Веч.», I, 12; «Кошел.», 140). Особенное зло причиняло это помещикам, которых французские гувернеры без церемонии надували и обворовывали. «Этот манер завелся и у деревенских бояр,— пишет Стародуров в «Полезном с приятным» (стр. 24),— так что за иным не более 300 душ, а у него живет иноземец и дерет с него очень и очень порядочные денежки». Сатириков наших очень возмущали также постыдные спекуляции, на которые пускались учителя-французы. Например, в «Кошельке» осмеивался французский гувернер, сам себя произведший в Шевалье де-Мансонж; этот плут, поступивши к одному помещику, «в свободное время

занимался переделкою простого табаку в *розовый* и продавал его по 5 и по 10 руб. за фунт». Но особенно было ужасно то, что они научали мотовству юношество, которое попадало в их руки. Ученье француза-гувернера обыкновенно оканчивается в наших сатирических рассказах тем, что воспитанник выучивается играть на бильярде, в банк и в *квинтич* и проматывает все отцовское состояние. Не менее азартных игр разоряли тогда дворян «французские моды». Не говоря уже о том, что парижские парикмахеры и портные брали очень дорого и что балы обходились в большие суммы, жизнь по моде вредна была еще тем, что расстраивала домашнее хозяйство. Модница уже не может сидеть дома и смотреть за хозяйством. В «Трутне» (1770, стр. 43) помещено письмо одной барыни, которая, сделавшись модницей при помощи французской мадамы, с отвращением вспоминает о том, что она прежде «только и знала, когда и как хлеб сеют, капусту сажают и пр., и не умела ни танцевать, ни одеваться». Если модной жене муж «осмелится напомнить о домашней экономии, о которой модная женщина считает за подлость иметь понятие, тут он пропал!» («Веч.», I, 188). Замечательно, что в сатирических нападках на французов экономическая и внешняя сторона играет очень видную роль, а собственно идеи французов не подвергались осмеянию до самого того времени, как политическое движение во Франции заставило их опасаться. В 1770-х годах, напротив, господствовало даже, и в обществе и в самой литературе, полнейшее уважение и к господину Волтеру, и к женевскому философу Жан-Жаку Руссо, и к ученому Дидероту, и пр. Эти нас не разоряли, да притом же их уважала сама императрица в это время.

Но и экономическую сторону вопроса сатирики рассматривали в очень малых размерах. Конечно, в обличениях мотов среднего состояния могли скрываться намеки и на то, что делалось первоклассными и знатными богачами. Но это предположение, если оно и справедливо, не свидетельствует в пользу *силы* тогдашней сатиры. Притом же наши сатирики и вообще литераторы умели нередко и менять точку зрения на предмет, как скоро дело превосходило те размеры, которые были им по плечу. Таким образом, в некоторых описаниях пиров знатных вельмож и в рассказах о жизни их расточительности принимала название *щедрости*, а роскошь называлась *великолепием*. Для примера можно указать из знаменитых — на Фонвизина, писавшего биографию Н. И. Панина, на Державина, который воспевал пиры Потемкина, забывая остроумные намеки, которые сам же делал на него в «Фелице», и пр. Между тем в этой-то, воспеваемой ими, *щедрости* и *великолепии* и заключалась причина финансового расстройства России. Тут даже и французские парикмахеры и гувернеры были виноваты очень мало. И без них были

другие побуждения и другие способы мотать неслыханные суммы. Сама Екатерина отличалась умеренностью и простою, как свидетельствуют современные ей записки и литературные обращения к ней. Вспомним стихи Державина:

Мурзам твоим не подражая,
По часту ходишь ты пешком,
И пища самая простая
Бывает за твоим столом и пр.

Но примеру, воспетому Державиным, не подражали приближенные императрицы. О роскоши, какую они себе позволяли, остались сведения изумительные, пред которыми должно побледнеть и исчезнуть все, что изображала сатира екатерининского века. «Трутень» обличал, например, господчиков, у которых на стол выходило 14 тысяч в год. А в «Записках» Грибовского находим, что у Пл. Ал. Зубова, графа Н. И. Панина и у графини Броницкой стол каждый день стоил около 400 рублей, исключая вин и прочих напитков, которых тоже выходило каждый день рублей на 200! (Гриб., Зап., стр. 60). Он же рассказывает удивительные вещи о пирах Л. А. Нарышкина, выездах Остермана в его золоченой карете, о праздниках Безбородко. Безбородко был весь засыпан золотом и брильянтами в своем доме. Танцовщице Давии он давал 2 000 р. золотом в месяц, а когда она уезжала в Италию, подарил ей деньгами и брильянтами на 500 000 р. Потом он содержал Сандунову, а когда эта вышла замуж, то взял на ее место танцовщицу Ленушку; от этой он имел дочь, которую потом выдал замуж, давши ей в приданое дом в 300 000 р. и имение с 80 000 р. дохода (Гриб., стр. 72). Откуда брались столь огромные суммы? Конечно, от щедрот Екатерины: хотя известно, что Безбородко и без того был очень богат, но его собственных средств нехватило бы на такую пышность. В пример того, какие размеры должны были иметь эти щедроты, можно указать на Н. И. Салтыкова, о котором сведения находим тоже у Грибовского. По словам его, Салтыков имел всего 6 000 душ крестьян, а проживал ежегодно по 200 000 р., да еще в течение 10 лет умел сделать такую экономию из своих доходов, что прикупил потом еще 10 000 душ (Гриб., стр. 61)...

...Говорить ли нам еще об одной стороне екатерининской сатиры — о борьбе ее со взяточничеством и крючкотворством? Это был конек ее, тут она показывала себя смелее, чем где-нибудь, и оказывалась решительно достойною последовательницею манифеста Екатерины о лихоимстве, который мы приводили выше. Но мы боимся распространяться об этом предмете: он так уже надоед всем читателям со времени «Губернских очерков». Желаящие насладиться чтением выходов наших сатириков против взяток не только мелких чиновни-

ков, но и воевод, могут обратиться к книжке г. Афанасьева, который посвятил специальному восхищению этим предметом целых 27 страниц (220—246). Мы же заметим здесь только о том, что и в вопросе бюрократическом сатира не нападала на общее устройство администрации, хотя она действовала уже накануне нового «Учреждения о губерниях», которым откровенно и решительно признана была совершенная негодность прежнего воеводского управления (1775 г., ноября 1). Сатира была в восторге от учреждения прокуроров и надеялась от них великого блага для земли русской, да и вообще находила, что «теперь уже десятой доли нет, против прежнего, выгод для подьячих, хотя еще можно и теперь нажить на службе деревеньку» («Трут», 1769 г., стр. 12). Можно вообразить, в какой восторг бы пришла сатира, если бы ее процветание продолжалось до «Учреждения о губерниях»! Вероятно, счастливее русской администрации она бы уж ничего не нашла в целом мире и, конечно, стала бы еще яростней обличать тех, кто приличился бы в каких-нибудь грешках даже и после этого учреждения. Но вот суждение о нем гр. А. Р. Воронцова, о котором мы уже говорили выше («Чт. М. О. И.», 1859 г., кн. I, стр. 95—96).

В царствование императрицы Екатерины Второй начавшаяся уже еще при Елисавете Первой роскошь и все следствия оной, далее и далее простираясь, возрастали; узаконения Петра Первого более и более в ослабление приходили, так что в среде своего царствования, после разных неудачных опытов (как-то: собрание депутатов для сочинения новых узаконений), вместо того, чтоб поправить то, что из узаконений Петра Великого в ослабление пришло, решила она внутреннему управлению дать некоторым образом новую форму, издав Учреждение для управления губерний. Нельзя не признать, чтоб оно не шло (хотя несколько и излишних судов наделано было) на внутренние российские губернии, где многого недоставало; но едва ли была нужда распространить оное на присоединенные и завоеванные нами провинции, кои имели у себя более устройства, нежели внутри России, или на азиатские, коим, по пространству земель их и по образу жизни и нравов тамошних жителей, такое управление несвойственно и неудобно. Но сие Учреждение о губерниях, хотя и не без пользы было, стало уже весьма ослабевать в последние годы самой учредительницы оного. Непомерная роскошь, послабление всем злоупотреблениям, жадность к обогащению и награждения участвующих во всех сих злоупотреблениях довели до того, что и самое Учреждение о губерниях считалось почти в тягость, да и люди едва ли уж не желали в 1796 году скорой перемены, которая, по естественной кончине сей государыни, и воспоследовала.

Вообще, несмотря на усилия сатиры, даже специальный ее вопрос о чиновничьих злоупотреблениях как-то плохо двигался к разрешению. Бессилие свое в этом деле сознавала, впрочем, и сама сатира. В «Живописце» помещено письмо к нему от некоторого помещика, бывшего чиновника, Ермолая, из сельца Краденова. В письме этом взяточник издевается над бессилием сатириков и делает заметки очень основательные. Без сомнения, письмо это писано в редакции журнала,

и в нем выразилась, вместе с долею некоторого самодовольства, и досада писателя на свое положение в деле обличений...

Представим теперь, в заключении нашей статьи, общий итог всего, что делала сатира в век Екатерины, и как ее дело отражалось в жизни русского общества.

Она кричала о свободе слова и мысли по поводу уничтожения тайной канцелярии в 1762 г. и затем открытия вольных типографий в 1782 г. К концу царствования Екатерины тайная канцелярия восстановлена под именем тайной экспедиции; в 1796 г. вольные типографии уничтожены.

Она сказала свое слово против пыток и вообще старалась о распространении гуманных идей и о смягчении нравов. При восшествии на престол императора Александра — не только существовала еще пытка, формально уничтоженная потом его указом от 27 сентября 1801 г. (П. С. З., № 20022), но по городам, при публичных местах, стояли виселицы, «вновь поставленные в 1799—1800 годах, для прибития к ним имен разных чиновников»; виселицы эти уничтожены также в 1801 году, по указу 8 апреля (П. С. З., № 19824).

Сатира обличала дурных помещиков и старалась защищать человеческие права крестьян. С 1762 г. идет ряд указов о повиновении крестьян помещикам. В 1783 г. утверждается крепостное право в Малороссии. До воцарения императора Александра сотни тысяч крестьян раздаются во владение частных лиц. В 1857 году поднимается вопрос об освобождении крестьян.

Сатира в семидесятых годах нападала на суеверие, невежество и дурное воспитание, на гувернеров-французов, на отсутствие истинных начал образования. В 1784 г., по освидетельствовании частных пансионов в Петербурге, оказалось, что во всех их 72 учителя, из которых только 20 русских, и из всего числа половина — учителя танцев и рисования («Янк. де Мириево», Воронова). После 1786 года не открывались, несмотря на указ, народные училища, потому что негде было взять учителей и средств для учебных пособий и содержания училищ. В начале нынешнего столетия нашлось много дворян — кандидатов в офицеры, не умеющих грамоте... Против слепого поклонения французам ратовал еще Грибоедов, уже гораздо после того, как мы брали Париж.

Сатира писала обличения против роскоши и мотовства. В 1768 г. учрежден ассигнационный банк, в 1786 г. выпущено вдруг на 100 миллионов ассигнаций. Потемкин и другие вельможи забирали из казны деньги целыми миллионами и сотнями тысяч, бросали на танцовщиц и на брильянты. Во внешней торговле, и без того слабой, господствовали беспорядки; звонкая монета исчезла. Бумажный рубль стоил 68 копеек; заграничный курс дошел до 44.

Сатирические журналы иногда поражали тех, кто не заботился об общем благе, кто разоряет народ. В это самое время вводились откупа, народ истощался рекрутскими наборами и бросал свои земли, не в состоянии будучи платить за них слишком высокие подати, страдал от неурожая и дороговизны, бродил без работы, помирал с голоду целыми тысячами.

Сатира очень зло восставала против лихоимства и неправосудия. В конце прошлого столетия пороки эти, если не усилились, то стояли на той же степени процветания, как и перед началом царствования Екатерины...

Пусть историки литературы восхищаются бойкостью, остроумием и благородством сатирических журналов и вообще сатиры екатерининского времени; но пусть же не оставляют они без внимания и жизненных явлений, указанных нами. Пусть они скажут нам, отчего этот разлад, отчего у нас это бессилие, эта бесплодность литературы? Неужели они не найдут другого, более обстоятельного и практического объяснения, кроме пошлой сентенции, приводимой г. Афанасьевым — что «предрассудки живучи»?

Нет, лучше, кажется, для объяснения этой печальной бесплодности припомнить письмо к «Живописцу», приведенное нами несколько выше... Или, еще лучше, — обратить внимание на слова указа императора Александра об уничтожении тайной экспедиции, объясняющие вред личного произвола и необходимость гласности и законности, общей для всех. Мы упраздняем тайную экспедицию, говорит указ, потому что «хотя она действует со всевозможным умерением и правилась личною мудростью и собственным государыни всех дел рассмотрением, но впоследствии времени *открылося, что личные правила, по самому существу своему перемене подлежащие, не могли положить надежного оплота злоупотреблению*, и потребна была сила закона, чтобы присвоить положениям сим надлежащую непоколебимость», и притом вообще, «в благоустроенном государстве все преступления должны быть объемлемы, судимы и наказуемы *общемою силою закона*» (П. С. З., № 19813).

Ссылкою на эти слова мы и заключим нашу статью, пожалевши еще раз, что сатира екатерининского века не находила возможности развивать свои обличения из этих простых положений — о вреде личного произвола и необходимости для блага общества «общей силы закона», которою бы всякий равно мог пользоваться.